



АВРААМ ШЛИОНСКИЙ • ГОРЫ ГИЛЬБОА



АВРААМ ШЛИОНСКИЙ
ГОРЫ ГИЛЬБОА

77

הוצא בסיוע האגודה "יד שלונסקי",
תל-אביב

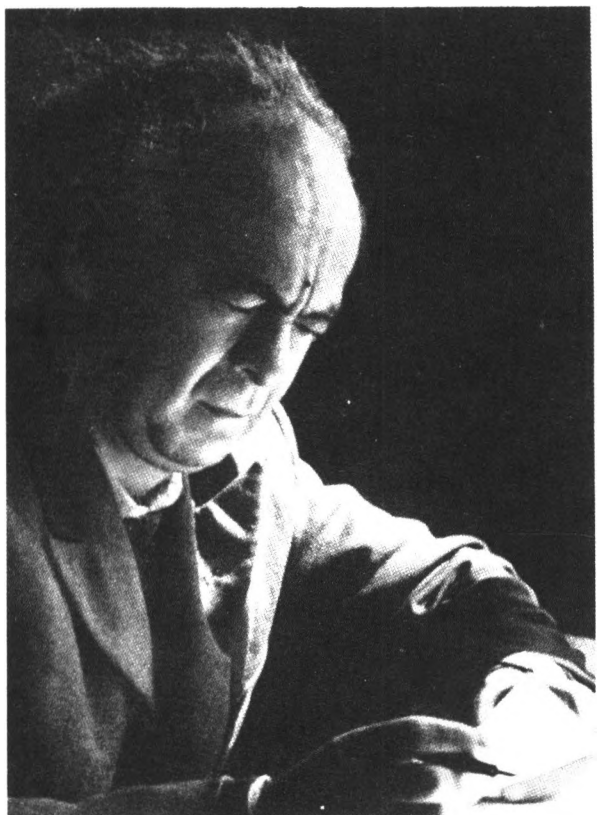
Издано при содействии
общества "Яд Шлионски", Тель-Авив

Авраам Шлионский

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

ГОРЫ ГИЛЬБОА

* Сохраняется авторское написание фамилии в отличие от принятого в некоторых изданиях написания Шлёнский.



АВРААМ ШЛИОНСКИЙ

Авраам Шлионский

ГОРЫ ГИЛЬБОА



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1980

Printed in Israel

אברהם שלונסקי
הרי גלבוע

A. Shlonsky
MOUNT GILBOA

עיריית חיפה
מועצת חרבות הפנאי
מחלקת תרבות לעולים
יזם אברהם שלונסקי - ספריה
פ. מלאי.....

457

Составитель *А. Белов*
Редактор *Р. Зернова*
Под общей редакцией *И. Орена*

Художник *Л. Ларский*

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס "גרפ-פרס" בע"מ, ירושלים

OCR Давид Титиевский, июль 2021 г., Хайфа

СОДЕРЖАНИЕ

Поэт возрожденного Израиля (статья). А.Элинсон . . .	1
"Гильбоа — в этом слове тайна и намек".	
Перевел В.Глозман	27
Песня. Перевела М.Пальчик	28
Откровение. Перевел Б.Камянов	29
"Дни без смысла, дни без цели". Перевела Е.Шварц..	30
"Чахоточным надрывным кашлем..."	
Перевел Еф. Баух	31
"Наездник мира — солнце — в небе день деньской..." Перевел Еф. Баух	
Ярмарка (<i>поэма</i>). Перевел А.Гинзай	33
Урожай. Перевел Л.Цивьян	
1. "Кто здесь шел? Кто прошел по земле этой старой?"	37
2. "О земля, я шею гну под ярмо..."	38
3. "Как вы пели про сердце..."	38
"Мычит светило. Круглой головой..."	
Перевела Е.Шварц	39
"Последний прохожий в ночном городке..."	
Перевел В.Глозман	39
"Владыка вселенной". Перевела Ф.Гурфинкель	
В палатке. Перевела М.Пальчик	41
Походный марш. Перевел Еф. Баух	42
Друг перед другом. Перевел Еф. Баух	43
Лицом к пустыне (<i>поэма</i>). Перевел А.Пэнн	44
В лодке. Перевела В.Горт	50
В шляпке. Перевела М.Пальчик	50
(два перевода одного стихотворения)	
Отплытие. Перевел Еф. Баух	51
Дремота. Перевел Еф. Баух	51
Искушения. Перевела Р.Баумволь	52

Обиды. Перевела В. Горт	53
И все же — не просто. Перевел Еф. Баух	54
Граница страха. Перевел Еф. Баух	55
Рамбам и Бакунин. Перевел Еф. Баух	56
На мотив Шевченко. Перевел Еф. Баух	57
Дом у реки. Перевел А. Сольд	57
День и ночь. Перевела Р. Баумволь	58
День и ночь. Перевела В. Горт	58
(два перевода одного стихотворения)	
Полночь. Перевела В. Горт	59
Козленок вернулся. Перевел А. Гинзай	59
На ухо ребенку. Перевела Р. Баумволь	62
<i>Из цикла Встреча с пейзажем.</i>	
Перевел Еф. Баух	
1. "Как страстно и странно..."	65
2. "Дремота в пустыне..."	65
3. "Как небу сладка моему..."	66
Такая ночь. Перевел Еф. Баух	67
Другая ночь. Перевел Еф. Баух	67
Человек и его комната. Перевел Еф. Баух	68
Только в этот раз. Перевел Б. Камянов	69
"Белый мой город..." Перевела В. Горт	70
Возвращение. Перевела В. Горт	70
Другой первоизданный. Перевел Л. Цивьян	
Молитва	71
Да будет свет!	72
И был вечер	72
Пастух (см. также в пер. А. Пэнна)	73
Землепашец (см. также в пер. А. Пэнна)	73
Каин, где ты?!	74
Тувал-Каин	74
Дождь в Содоме	74
Бегство из Гоморры	75
Зулейха (см. также в пер. А. Пэнна)	75
Новый первоизданный	76
<i>Из цикла Другой первоизданный.</i> Перевел А. Пэнн	
Пастух	77
Землепашец	77
Семя (Зулейха)	78

Из цикла Песни зрелого утра	
Вот ты обручена... Перевел Л.Цивьян	79
Тело наше помнит... Перевел Л.Цивьян	80
Зрелое утро... Перевел Еф. Баух	80
Осень. Перевел Еф. Баух	81
Белый день. Перевел М.Генделев	82
Утренняя молитва. Перевел М.Генделев	83
Песня о воде. Перевел Еф. Баух	83
Из цикла Стихи о хлебе и воде	
1. Благодарение. Перевел А.Пэнн	85
2. Сытость. Перевел Еф. Баух	85
3. Гость. Перевел Еф. Баух	86
4. Трое. Пер. Еф. Баух	87
Письмена. Перевел Л.Тоом	88
Сталинград. Перевел А.Пэнн	89
Из тьмы (поэма). Перевел А.Гинзай	89
Бассейн в Майданеке. Перевел Л.Тоом	93
Сад. Перевел Л.Цивьян	94
Как хорошо! Перевела М.Пальчик	95
Мой город. Перевела М.Пальчик	95
Вечерние видения. Перевела М.Квятковская	96
Знамение. Перевел Еф. Баух	96
Гул взрыва. Перевел Еф. Баух	97
Мертвый вечер. Перевел Л.Цивьян	98
Нетрезвая ночь. Перевел В.Глозман	99
В четырех стенах. Перевел В.Глозман	100
Из цикла К разорванным небесам	
Черствый хлеб. Перевел Л.Цивьян	101
Когда восходит Марс. Перевела М.Квятковская..	102
”Пусть он упал в дорожный прах...”	
Перевел В.Корнилов	103
Человек и его загадки.	
Перевела М.Квятковская	103
После поединка. Перевел Еф. Баух	104
Лишь тогда. Перевела М.Квятковская	104
Песня последней страницы.	
Перевела М.Квятковская	106
Стихотворение. Перевел В.Корнилов	106
(два перевода одного стихотворения)	

Отражения. Перевела М.Квятковская	107
Листва. Перевела М.Квятковская	107
Ты. Перевел М.Генделев	108
Молитва о вымысле. Перевела М.Квятковская . . .	109
Молитва о выдумке. Перевел П.Карп	109
(два перевода одного стихотворения)	
Друг друга. Перевел В.Глозман	110
Пейзаж без человека. Перевела Р.Левинзон	110
Три стихотворения. Перевел Л.Цивьян	
1. Свет дня	111
2. Намеки висящей луны	111
3. Тысячеликий дождь	112
Мои безрассудства. Перевела Р.Баумволь	114
Субботние звезды. Перевела М.Борисова	115
Субботние звезды. Перевела Р.Баумволь	116
(два перевода одного стихотворения)	
<i>Из цикла Ребячливость</i>	
Есть или нет? Перевела Р.Левинзон	117
И так? Перевела Р.Левинзон	117
Секрет потерянного мяча. Перевела Р.Баумволь	118
Каждый о своем. Перевела Р.Левинзон	119
В свой черед. Перевела Р.Левинзон	120
Последний вечер. Перевела Р.Баумволь	120
Введение (из песен Ху-а-лу).	
Перевела Ф.Гурфинкель.	
1. Как вдруг ослепший	121
2. Ты называешь это напевом	122
Не хотела забыть птица. Перевела Ф.Гурфинкель . .	124
Одна из них очень синяя.	
Перевела Ф.Гурфинкель	124
Прямая связь. Перевела Ф.Гурфинкель	125

Стихи для детей

Верблюды Гамлиэль (из книги "Приключения Мики-Маху"). Перевел А.Гинзай	128
Лужица (из книги "Я и Талли").	
Перевела Р.Левинзон	132

Я и Талли в Кверхногамии (<i>из книги "Я и Талли"</i>).	
Перевел А.Щербаков	134
Уц-Ли-Гуц-Ли (<i>отрывок из пьесы</i>).	
Перевела Р.Баумволь	138
Авраам Шлионский – переводчик (статья). А.Белов.	141

ПОЭТ ВОЗРОЖДЕННОГО ИЗРАИЛЯ

В истории еврейской поэзии Аврааму Шлионскому принадлежит особое место. Для возрожденной ивритской литературы Хаим Нахман Бялик (1873—1934) — это Пушкин; Авраама же Шлионского (1900—1973) следует признать преемником Бялика. Но это был преемник непокорный, отвергавший поэтику своего предшественника, открывший перед литературой новые горизонты, поднявший ее на новую ступень развития.

С Бялика начался стремительный процесс возрождения еврейской (ивритской) поэзии после многих столетий летаргии и оцепенения. Понадобился гений Бялика, чтобы освободить язык от застывших штампов, обветшалых канонов и цепей риторики, сделать его живым и гибким, способным выразить сложный душевный мир человека XX столетия. С большой последовательностью и виртуозным блеском продолжил эту работу Авраам Шлионский, начавший свой путь в литературе с яростной борьбы против эпигонов Бялика, которые успокаивались на достигнутом и отрицали все, что выходило за рамки бяликовской поэтики.

Новая эпоха в жизни нашего народа на своей исторической родине вызвала к жизни и новую поэзию. Но смена литературных течений, школ, направлений никогда не происходит мирно, она неизбежно сопровождается яростной борьбой.

В литературной судьбе Авраама Шлионского немало общего с судьбой Владимира Маяковского. И того, и другого вначале решительно отвергали, объявляли их стихи "непонятными", "странными", "заумными", "непоэтичными". Нападкам подвергалось все — и тематика, и диковинные образы, и непривычные рифмы и

ритмы... Прошли годы, прежде чем была по достоинству оценена революционная и новаторская сущность их поэзии. Теперь стихи Шлионского, как и стихи Маяковского, стали классикой и их изучают в школах. Для сегодняшних модернистов А. Шлионский уже не новатор, а рутинер... И это понятно. Они выросли на его поэзии и восприняли его новации как нечто вполне естественное и само собой разумеющееся. Такова диалектика литературного процесса.

Шлионский воспитал целую плеяду замечательных поэтов: среди них — Натан Альтерман, Лея Гольдберг, Александр Пэнн, которые на протяжении десятилетий определяли лицо еврейской поэзии, задавали в ней тон.

Все творчество Шлионского (а это не только стихи, это и мастерские, высокохудожественные переводы, и блестящая публицистика, и литературная критика) — поучительный пример упорного и настойчивого состязания с временем и проблемами, которые оно порождает.

В одном из газетных интервью поэт сказал о себе:

”Я родился — к счастью или к несчастью — в период, когда мои сугубо личные даты знаменовали также даты мировой истории. Появился я на свет Божий в самом начале славного и проклятого XX века. Когда мне было пять лет и ребенок превратился в мальчугана, в России разразилась революция 1905 года, а вслед за нею начались еврейские погромы. Когда я вместе с миллионами других детей стоял на пороге отрочества (а в рамках нашей еврейской традиции — достиг духовного совершеннолетия, *бар-мицва*), вспыхнула Первая мировая война. Когда мне исполнилось семнадцать лет и подросток превратился в юношу, грянула революция 1917 года, сопровождавшаяся еще более страшными еврейскими погромами. В 21 год — в пору зрелости и возмужания — наступила самая главная для моего поколения дата: алия в Эрец-Исраэль... Это же факт, что важнейшие этапы моего личного бытия совпали с этапами исторического развития всего человечества, определившими нашу судьбу, наши мысли и нашу поэзию...”

Авраам Шлионский родился на Украине в селе Крюково (возле Кременчуга) 6 марта 1900 года (5 адарабет 5660 года по еврейскому календарю). Его дед со стороны матери был видным хасидом-хабадником*, большим знатоком Талмуда и еврейской традиции. В противоположность ему, дед со стороны отца слыл отщепенцем и безбожником, любившим приложиться к рюмочке. Отъявленный бунтарь и нарушитель традиций, он жил не в общем семейном доме, а в изолированном флигеле, переполненном книгами, куда детям вход был строго запрещен. Но запретный плод сладок, и будущего поэта особенно тянуло к деду чудаку и фантазеру, который, несомненно, оказал немалое влияние на его творчество.

Отец поэта был горячим сионистом и большим знатоком еврейского фольклора. Он охотно выполнял обязанности кантора и даже сам сочинял стихи религиозно-нравственного содержания и мелодии к ним. Мать же шла своим особым путем — она была опьянена революцией 1905 года, дружила с социал-демократами, активно помогала подпольщикам, распространяла листовки и даже прятала в своем доме револьвер. Чуткая душа ребенка впитывала в себя все эти столь противоречивые влияния и по-своему синтезировала их.

Дебютировал двенадцатилетний Шлионский не как поэт, а как публицист в ежегоднике "Хаах" ("Очаг"), который выпускали ученики известного Любавичского ешибота, куда его отправил отец. "После праздника Кушей, — писал он в одной из статей, — я отправляюсь в Эрец-Исраэль и надеюсь, что вскоре мы все обретем там покой, когда Всевышний приведет нас в страну наших предков...". Уже в раннем детстве он был убежденным сионистом.

* Хабад (аббревиатура слов *חכמה, בינה, תורת* — "ум, мудрость, знание") — название хасидского мистического течения, возникшего в конце 18-го века в Белоруссии и Литве.

Спустя год Шлионский стал учеником знаменитой тель-авивской гимназии "Герцлия", слава о которой быстро разнеслась по всем странам рассеяния. Там он отличался не столько прилежанием и усидчивостью, сколько проказами и игрой в футбол. В гимназической газете "Тал шахарит" ("Утренняя роса") он опубликовал свои первые стихи.

Мировая война 1914 года застала его на пароходе близ Константинополя: на летние каникулы он, как и многие другие учащиеся, поехал домой к родителям. С большим трудом мальчику удалось добраться до Екатеринослава (ныне Днепропетровск), куда переехала его семья, и он застрял в России на целых семь лет. Учился он там в известной еврейской Виленской гимназии Кагана, которая во время войны была переведена в Екатеринослав. Обучение шло на русском языке, но ежедневно час посвящался ивриту.

По инициативе Шлионского пятнадцать гимназистов договорились между собой, что на все вопросы учителей они будут отвечать только на иврите. Многих необходимых слов и терминов не хватало, и поэтому они создали свой "языковой комитет", сочинявший недостающие слова. Выпускали они и стенную газету на иврите, где публиковались стихи, рассказы, заметки и материалы "языкового комитета". Во всех этих начинаниях главную роль играл Авраам Шлионский, уже тогда стремившийся обогатить иврит и приспособить его к требованиям жизни.

Нет прямых свидетельств об отношении Авраама Шлионского к февральской революции и октябрьскому перевороту, но несомненно большое влияние на него новой русской поэзии, особенно Блока, Маяковского и Есенина. В его сознании они органически уживались не только с Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым, но и с Иехудой Галеви, Ибн-Габиролем, Иммануэлем Римским, с "Песней песней" и пламенными речами пророков. И уже в юношеских стихах Шлионского порою звучало что-то совсем необычное, предве-

щавшее того поэта, которому суждено было открыть новую главу в нашей национальной литературе.

Все больше увлекаясь поэзией и видя в ней свое жизненное призвание, молодой Шлионский много времени отдавал переводам, считая, что они могут обогатить еврейскую литературу. Он очень любил Пушкина и перевел на иврит его сказки. Эту рукопись у него украл вместе со всеми вещами во время одной из неудавшихся попыток выехать в Эрец-Исраэль через Крым.

Не тяготы гражданской войны, не голод и ужасы погромов побуждали его покинуть страну, где он родился и вырос. Шлионский видел смысл своей жизни в возрождении древней родины, где всюду гонимый и преследуемый еврейский народ сможет жить спокойно, строить справедливое общество, основанное на учении пророков и идеалах социализма, и создать свою национальную культуру.

Наконец, ему улыбнулось счастье: он вырвался на волю через Польшу. Правда, ему пришлось познакомиться с польскими тюрьмами и доказывать польским властям, что он не подсланный красными коммунист, а представителем Палестинского агентства в Варшаве — что он не евсек*. Но в конце концов он добился своего и в 1921 году снова оказался в Эрец-Исраэль.

На время он, как и другие его товарищи по халуцианскому движению, забыл о литературе и поэзии; он был среди тех, кто прокладывал шоссе Афула — Нацрат (Назарет), строил фундаменты зданий в Хайфе и Тель-Авиве, занимался лесопосадками. Физический труд был непривычен, тяжел, подчас изнурителен, но это был созидательный труд во имя возрождения народа и родины, во имя высоких идей социального равенства. Энтузиазмом тех дней дышит поэма "Лицом к пустыне", перевод которой публикуется в сборнике.

* Член Еврейской секции Российской коммунистической партии большевиков.

Дольше всего Шлионский проработал в только что созданном кибуце Эйн-Харод в долине Изреель. Характеризуя то время в нашумевшей статье "От помидора до симфонии"* , Шлионский писал:

"То были дни, когда только что началось строительство Долины, дни поникшей палатки** у подножья гор Гильбоа, которые иногда нам виделись в образе верблюдов древних времен, опустившихся на колени, чтобы утолить жажду у источников Эйн-Харода, а иногда в образе Валаамовой ослицы — в сердце проклятие, а на устах — благословение... Овеянные романтикой пейзажи Библии и Мапу*** никак не сочетались с истинным неприглядным видом лысых гор и колючих кустарников. Радость молодости и созидания — только она одна могла спасти от кричащего противоречия между мечтой и действительностью и отыскать в них некое единство. Ярче всего это драматическое единство проявлялось в неистовой пляске *хора* в стиле того времени: "не хотим спать, хотим сходить с ума"... Пьяные ноги будто пели псалмы, а чуткое ухо улавливало в истошном крике отголосок невольных и неосознанных рыданий... Позади — город и местечко, отчий дом со своим устоявшимся бытом, школьная парта, духовное наследие со всеми его ценностями. Прошлое сразу и решительно отвергнуто в страстном желании все коренным образом изменить..."

В атмосфере, где царило нигилистическое отрицание культуры, литературы и искусства, а слово "интеллигент" звучало как бранная кличка, писать стихи было нелегко. Но Шлионский не мог не писать. Однако он тщательно скрывал этот "грех" от товарищей и даже от

* На иврите это звучит особенно выразительно, почти в рифму — "Ме-агваний ад симфония".

** См. стихотворение "В палатке".

*** Авраам Мапу (1808—1867) — автор первых еврейских исторических романов на библейские темы, снискавших большую популярность.

самых близких друзей, чтобы не стать в их глазах посмешищем. Правда, он отважился напечатать свой перевод "Интернационала", который был всеми единодушно одобрен и вот уже более полувека исполняется в переводе А.Шлионского.

В 1922 году, поселившись в Тель-Авиве и продолжая работать на стройках помощником бетонщика, он начинает печататься в литературных сборниках "Хедим" ("Отголоски"). Это была очень скромная литературная трибуна, альманах, выходивший нерегулярно, но искавший новые темы, созвучные времени, новые средства выражения и новые имена. Здесь на молодого поэта с его оригинальной лексикой, необычной метафоричностью и новой поэтической техникой сразу обратили внимание; здесь поощряли его эксперименты.

С первых шагов в еврейской литературе Шлионский пошел особым, непроторенным путем; с первых шагов начал бороться за свое понимание роли художника. Это была тяжелая, продолжительная и ожесточенная борьба. К тому же вначале и одинокая — у Шлионского тогда почти не было союзников. Сопротивление, с которым он столкнулся, было инстинктивным, а иногда и сознательным сопротивлением старого и традиционного, которое пытается оградить себя от всего нового. Наша литература в ту пору заметно отставала в своем развитии от европейской, и многие ее деятели с неприязнью и подозрительностью относились к попыткам сломать старые устоявшиеся формы, рамки, представления. Призывая в одной из своих статей, опубликованной в альманахе "Хедим", обновить лицо еврейской литературы, чтобы она отвечала требованиям времени, А.Шлионский писал:

"После всего пережитого разве мы можем тащить нашу литературу назад, держась за ее подол, распоротый сквозным ветром, тащить к папе, маме, уютному очагу?.. Поэт сегодня — это Иов. Хватит представлять поэта чужаком, который стоит в стороне и смотрит на жизнь через лорнет искусства, а потом уходит к себе за кулисы и там что-то изображает. Ведь не о ком-то

должен писать поэт, а о себе, о собственных ранах, и тот, чье тело не поражено, — не художник, ибо он не испытывает боли... Когда бушует ветер революции, нет для художника укрытия!”

В другой полемической статье Шлионский ополчается против “старых монет” в литературе, стертых от частого употребления, и требует новой образности, новой пластичности. Он выступает против высокопарной риторики, чем нередко грешила еврейская литература, против красивых, но пустых фраз, за которыми нет подлинного жара чувств. Привычные словосочетания, затасканные образы — признаки “языкового рабства”, утверждает Шлионский, привычная лексика бесправна и зависима, как женщина, живущая при патриархальном строе...

В 1924 году Шлионский уезжает учиться в Париж и влюбляется в этот город с первого взгляда. Он жадно набрасывается на модернистскую французскую поэзию и обогащает свою палитру ее красками и ритмами, публикует новые циклы стихов, имевшие большой успех у читателей.

Весной 1925 года Шлионский получил весьма лестное предложение от Берла Кацнельсона — идеолога рабочего движения в подмандатной Палестине, основателя и первого редактора самой популярной в то время газеты “Давар”. Он предложил Шлионскому сотрудничество в своей газете и предоставил ему полную свободу действий: Шлионский мог публиковать статьи и рецензии, очерки и фельетоны, свои стихи и свои переводы, и тот с благодарностью согласился.

Работа в газете с ее напряженным ритмом оказалась отличной школой для молодого поэта и публициста. Она отточила его перо, научила писать быстро, сосредоточенно, целеустремленно, с полной отдачей. Газета дала выход его бьющему через край темпераменту прирожденного полемиста и еще более приблизила поэта к насущным, жизненно важным проблемам времени и страны.

Если Шлионский-поэт озадачивал любителей чистого искусства разрушением привычных литературных канонов и вдохновенной поэтизацией будней и атрибутов повседневного труда, то Шлионский-публицист в пылу полемики не щадил никаких авторитетов и вступал в спор даже с редактором газеты, в которой сотрудничал... Берл Кацнельсон однажды заявил, что в условиях израильской действительности профессиональные писатели не нужны: газеты и литература должны делаться руками "рабкоров". А.Шлионский решительно отверг эту наивную, заимствованную у Пролеткульта идею. Он ополчился против дилетантизма в литературе и искусстве вообще. Литература должна быть для писателя делом жизни, а не побочным занятием в часы досуга, — утверждал он.

Между главным редактором и строптивым сотрудником начались серьезные трения. Проработав в "Даваре" год, Шлионский получил извещение о том, что увольняется "из соображений экономии и сокращения расходов"... Но в это время у Шлионского была уже другая влиятельная трибуна — литературный еженедельник "Ктувим" ("Письмена"), который редактировал Элизер Штейнман (1892—1970) — прозаик, эссеист и критик, в ту пору единомышленник Шлионского. Их сотрудничество оказалось очень плодотворным и длилось долгие годы. Но и с ежедневной прессой Шлионский не порывал: спустя несколько лет он стал активно сотрудничать в газете "Хаарец" ("Страна"), затем, когда заметно "полевел", — в маламовском* органе "Аль-Хамишмар" ("На страже"). Он писал очень много — под собственным именем, под разными псевдонимами (Эшель, А.Зеира, Сафра, А.Коре, Эвен-Тов, Эльханан, А.Сорер и др.), иногда и без всякой подписи.

Работа в газете была для Шлионского душевной потребностью. Она соответствовала его темпераменту бойца-публициста.

* Мапам — Объединенная рабочая партия левосоциалистического направления.

”Ктувим”, который был органом Израильского союза писателей, с приходом Шлионского очень скоро превратился в трибуну воинствующей оппозиции и противопоставил себя всей писательской элите.

Роль этого журнала в истории еврейской литературы трудно переоценить. Сплотив вокруг себя молодые силы, ”Ктувим” помог совершить в ней подлинный переворот. Он внес в нашу поэзию свежую струю модернизма, открыл путь творческим экспериментам и новым течениям, во многом изменил даже сам характер иврита. То было веление времени, и среди пионеров и первопроходцев новых литературных идей впереди всех шагал Авраам Шлионский. В одной из своих статей того времени он писал:

”Не приходится возражать против самого бережливого отношения к ценностям прошлого... У всех народов и во всех национальных литературах есть люди, занятые выполнением этого завета. Есть даже для данной цели специальные академии и университеты. Но там цель эта принципиально и практически не противопоставляется живому творчеству и не тормозит его. Великое прошлое живет там в полном согласии со своими потомками. А вот у нас, если пользоваться языком символов, из-за Стены Плача и могилы Рахили забывают об Изреельской долине. Поступать так, по нашему мнению, значит грешить перед жизнью и перед будущим...”.

Шлионский считал себя призванным совершить переворот в еврейской поэзии, и потому одним из главных объектов его нападок стал Хаим Нахман Бялик — общепризнанный глава современной еврейской литературы, имя которого произносилось с благоговением.

Предлоги для этих нападок были самые неожиданные. Так, в 1927 году в Тель-Авив приехали Шалом Аш и Перец Гиршбейн, жившие в Америке и писавшие на языке идиш. В их честь был устроен прием, на котором выступили видные израильские писатели, в том числе и Бялик, писавший, как известно, и на идише. Приветствуя гостей, он, в частности, сказал, что ”между иври-

том и идишем заключен нерасторжимый брак на небесах...". Эта безобидная фраза послужила поводом для очень резкой по тону и содержанию статьи Шлионского, в которой он утверждал, что двуязычие — это "чахотка, разъедающая легкие нации"... Шлионский вообще отрицал за языком идиш с его богатейшей литературой и многовековыми традициями право на существование...

Разумеется, он получил достойную отповедь. Выдающийся еврейский писатель Х. Лейвик писал, что восхищается стихами Шлионского (они подобны "чистому и крепкому вину", в них есть "общечеловеческие чувства, выходящие за рамки государственных и языковых границ"), но "гебраисту Шлионскому не подал бы руки...".

С течением времени Шлионский отказался от своих крайних позиций. Он не только признал за языком идиш право на существование, но перевел на иврит пьесу Давида Бергельсона "Не умру, а буду жить", стихи того же Лейвика, Мангера и других идишистских поэтов, рассказы Шалома Аша. В последние годы жизни он очень гордился тем, что его книгу стихов издали в переводе на идиш. Но полвека назад, когда начался процесс возрождения иврита, самому его существованию грозила опасность, а идиш представляла в Европе и Америке разветвленная пресса с миллионами читателей. Этим в немалой степени объясняется особая резкость полемики между "идишистами" и "гебраистами".

Спустя несколько лет Шлионский возобновил нападки на Бялика, на этот раз повод был сугубо литературный. В 1931 году Бялик опубликовал стихотворение "Я снова вижу вас бессильными...", по форме напоминавшее обличительные речи пророков. Современники увидели в этих стихах суровую критику сионистского руководства, нерешительного, растерянного, раздираемого внутренними противоречиями. Шлионский прошел мимо идейного содержания этого стихотворения, но счел нужным подвергнуть резкой критике его художественные изъяны. А их он обнаружил великое мно-

жество. Тут и обилие библейских и талмудических выражений (Шлионский и раньше критиковал ивритскую литературу за "избыток святости"), и диспропорция между отдельными частями стихотворения, и "психологические искажения", и "язык грубой брани", и "несамостоятельность стиля"... "Это кроссворд красивых изречений, искусная работа, свидетельствующая о владении языком... — писал Шлионский. — Стилизованная стрельба из заимствованных орудий, произведенная рукой, натренированной в музее древности. А где же голос собственного "я"?.."

Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы. Широкою общественность возмутила не только явно тенденциозная и утрированная критика, но и ее развязный тон. В ходе оживленной полемики, длившейся несколько месяцев, центр тяжести спора стал постепенно перемещаться от одного конкретного стихотворения к анализу состояния всей еврейской поэзии, и в ходе этого спора А.Шлионский внес существенные коррективы в свою позицию.

Прошли годы, страсти улеглись, лицо еврейской поэзии заметно изменилось, и в одной из своих статей Шлионский признается... в большой любви и уважении к Бялику, в котором он видит "символ еврейского оптимизма", человека, "двумя руками ухватившегося за древо жизни...". Он отмечает, что "любовь к краскам в его стихах и речах, тонкий подтекст, яркость выражения, страсть к конкретной, сочной, "телесной" притче — все эти присущие ему "пряности" стиля вообще не поддаются подражанию...". Шлионский предсказывает, что "наступит день, когда все литературное наследие Бялика будет тщательно изучаться не только с точки зрения исторической и идейной, но и технико-лабораторной, чтобы разгадать секреты его творчества".

О Бялике написаны сотни статей, но то, что вышло из-под пера Шлионского (как и его волнующая речь в 1960 году по случаю присуждения ему премии имени Бялика), относится к числу самых вдохновенных вы-

сказываний о великом еврейском поэте. Так и Маяковский признавался в любви к Пушкину, которого он в юности запальчиво предлагал "сбросить с корабля современности".

Семь лет длилось сотрудничество Авраама Шлионского с Элизером Штейнманом в еженедельнике "Ктувим", который, без сомнения, был одним из важных факторов больших перемен, происшедших в новой ивритской литературе.

После разрыва со Штейнманом и "Ктувим" (1933) А.Шлионский организовал новый литературный еженедельник "Турим" ("Столбцы"), редактором которого стал сам. Журнал просуществовал немногим больше года; в апреле 1938 г. он начал выходить снова, но в марте 1939 г. закрылся окончательно. Сравнительно узкий круг читателей тех лет (в довоенной Палестине не насчитывалось и полумиллиона евреев, и далеко не все владели ивритом) не обеспечивал даже минимальной финансовой базы для литературного журнала. Однако за короткий период своего существования еженедельник опубликовал не только множество произведений Шлионского и его группы (Натан Альтерман, Лея Гольдберг), но и ряд выдающихся переводов (Александр Пэнн и др.). Из русских писателей на его страницах были представлены Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Владимир Маяковский, Дмитрий Мережковский, Илья Эренбург и многие другие.

Всю свою жизнь А.Шлионский активно участвовал в литературных сражениях. Кроме названных выше газет и журналов он в разное время редактировал литературные страницы еженедельника "Хашомер-хацаир", ежедневной газеты "Мишмар" (впоследствии "Аль-хамишмар"), еженедельника "Иттим", литературные сборники "Орлогин" и почти тридцать пять лет был одним из руководителей издательства "Сифриат хапоалим" ("Рабочая библиотека"). Все эти издания связаны, в большей или меньшей степени, с партией левых социалистов "Мапам", которой Шлионский симпатизировал и с лидерами которой его связывали узы личной

дружбы. Это, однако, не помешало ему яростно обрушиться на организаторов московских довоенных показательных процессов. В статье "Двадцать второй казненный" он писал:

"Русская революция, которую десятки тысяч осыпали своей верой и смертью, превратилась в топор для рубки голов. Горе ей, если главный грузинский мясник действительно мстит за нее и в течение двадцати лет стражами этой революции была банда изменников и подлецов... И горе ей, если приговорены к смертной казни ее последние праведники и она осталась обездоленной и оскверненной перед лицом своих палачей...".

Шлионский ожидал резких протестов против террора со стороны русской интеллигенции и прежде всего писателей, которых считал совестью народной. Но услышав вместо этого "трубные звуки ликования, когда осужденных вели на плаху", он с горечью заключил:

"Вместе с двадцатью одним казненным Сталин приговорил к смерти еще одного обвиняемого — венец русского духа, красоту и честь человечества: русского писателя. Это двадцать второй казненный".

Шлионский резко критиковал диктат коммунистической партии в литературе, когда писателям указывали, что и как писать. "Только Сталин не меняет своего жанра, сочиняя смертные приговоры...".

Но решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, но знаменитая речь Громыко в ООН, когда он поддержал создание еврейского государства, но советская помощь Израилю вооружением во время Войны за Независимость коренным образом изменили взгляды поэта. Он стал горячим сторонником кремлевских правителей. Как все лидеры "Мапама", Шлионский многие годы был в плену искусной советской демагогии о "первом в мире социалистическом государстве рабочих и крестьян", наивно верил в пресловутую "дружбу народов", считал Советский Союз миролюбивым государством, а жестокого диктатора — великим вождем человечества... Как и Ромэн Роллан, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер и многие дру-

гие выдающиеся умы, он был жертвой советской пропаганды. Лишь после смерти Сталина и последовавших за ней сенсационных разоблачений туман начал рассеиваться, и поэт стал отличать неприглядную советскую действительность от ловкого политического камуфляжа.

Возвращение еврейского народа на свою историческую родину после двух тысяч лет скитаний, страшная катастрофа, предшествовавшая образованию государства Израиль, консолидация нации, расколотой на десятки разноязычных племен, возрождение ее на основе благородных идей пророков о социальной справедливости — все это явления и процессы, беспримерные в мировой истории. Народ, обреченный на гибель и исчезновение, начал новую жизнь в пустынной и заброшенной стране, во вражеском окружении, держа в одной руке молот, а в другой — винтовку. Он должен был не только строить города и поселки, сеять и пахать, насаждать сады и виноградники, но и учиться говорить (в буквальном смысле слова), перестраивать себя, всю свою жизнь, свой быт, свои навыки, свою психологию. Ремесленники, мелкие торговцы и посредники должны были стать земледельцами, строителями, воинами. Ясно, что в таких условиях еврейская литература, если хотела выражать думы и чувства своего народа, не могла идти проторенными путями. Это хорошо понимал Шлионский, стремившийся создать новый мир поэзии, отвечавший требованиям времени. Герой его произведений — человек, мучительно и радостно преобразующий природу и самого себя.

Могучие страсти бушевали в сердцах билуйцев* — горстки пионеров-первопроходцев, которые еще в кон-

* БИЛУ — аббревиатура слов пророка Исаяи "Дом Иакова! Вставайте и пойдем!" — "בית יעקב לכו ונלכה" (2:5). Движение билуйцев возникло как реакция на погромы 1881–1882 гг. на Украине. Инициаторами движения явились студенты, решившие переселиться в Палестину и надеявшиеся увлечь своим примером еврейскую молодежь.

це прошлого века покинули отчий дом и университетские аудитории, чтобы начать жить заново в Эрец-Исраэль. Они сознательно обрекли себя на суровую и трудную жизнь ради светлого будущего своего народа. Благородные идеи и чувства руководили и последующими волнами переселенцев, включая и ту, с которой прибыл в страну Шлионский и которая известна под названием Третьей алии.

Душевная жизнь этих людей была полна противоречий: энтузиазм и восторг порой отступали перед безмерным отчаянием, взрывы безудержного веселья сменялись приступами глубокой скорби. Шлионский стал выразителем их дум и чувств, их мироощущения и надежд.

Одно из первых стихотворений молодого поэта начинается такими словами:

Чахоточным надрывным кашлем
над днем моим, уже вчерашним,
хрипел закат – и харкнул облачною пеной.
(И крови лужица из горла
его стекла с последним кашлем).
О день мой, память о нем благословенна!

В этом четверостишии – сгусток скорби: не просто кашель, а чахоточный и надрывный, лужица крови, предсмертный хрип (“память о нем благословенна” говорят только о покойниках).

Подобных и еще более мрачных по настроению стихов у А.Шлионского немало. И рядом с ними такие строки:

Выше, к небу,
Тверд и горд!
Была небыль –
будет город!
(“Лицом к пустыне”)

Или:

Пойте! Хорошо в полночной сини
эту песню слушать мне опять,
пусть она хребты Гильбоа сдвинет
и заставит с нами танцевать!

(“Песня”)

Диапазон его поэтики очень широк, словарь необычайно богат красками и оттенками. Он ввел в поэзию совершенно непривычные, небывалые слова, образы, словосочетания; он заставил ее говорить языком XX века.

Стихотворный цикл “Урожай” открывается строками:

Кто здесь шел? Кто прошел по земле этой старой?
Это чье дерьмо? Кем трава здесь помята?
Здесь прошел пастух с овечьей отарой,
Это овцы роняли орешки помета.

Уже в первой строфе мы видим декларативно подчеркнутую поэтизацию такой сугубо прозаической вещи, как овечий помет. Хуже того: поэт, не стесняясь, употребляет вульгарное и “неприличное” слово — “дерьмо”. Все тут — вызов. Он продолжает:

Вы кричите, что это неблагородно.
Я сказал: мое сердце — понесшее поле,
ваши звезды ему — что навоз плодородный.
От кого понесу? Кто войдет ко мне с болью?

Не счесть поэтов, воспевавших звезды, но сравнить их с навозом мог позволить себе только А. Шлионский. Это все та же линия на ниспровержение старой поэтики и замену ее новой, отвечающей чувствам и мыслям идеалистов-халуцианцев. Эти люди, предки которых насильно, в течение столетий, были оторваны от земли и сельскохозяйственного труда, лишь теперь смогли осуществить мечту поколений. Они взяли в руки рукоять плуга и серп, сели за руль трактора. Для них работа на земле — род священнодействия, как молитва. И подоб-

но псалмам звучат строки из того же стихотворного цикла:

О земля, я шею гну под ярмо!
Как телица, сгибаю ее неумело.
Где стрекало? Где плуг? Мое поле мертво!
Я вспашу мое поле. Веди меня. Сэлла!

Сколько вдохновенных строк поэты всего мира посвятили сердцу — средоточию самых благородных чувств. Шлионский же позволяет себе писать о нем так:

Как вы пели про сердце: чертоги, и храм, и дворец!
Украшайте ж его, коврами его застелите!
Мое сердце — будь хлев, будь загон для овец!
Козы, овцы, войдите и в нем поселитесь...

Поэты не устают воспевать тонкий, изящный девичий стан. Для Шлионского же органичен такой образ: "Вся земля — огромный женский живот". Он поэтизирует беременность, зачатие, роды, все, что связано с великим таинством вечного обновления жизни:

Она лежит нагая предо мною,
туманом скрыты тучные поля.
Она лежит — невеста под фатою —
готовая к зачатию земля.

(“Вот ты обручена...”)

Природа в стихах Шлионского живет, страдает, ликует, жаждет, томится вместе с человеком:

Тут каждый холм лежит, как зверь настороженный.
Тут каждый ком земли свиданья жадно ждет.
Земля тепла, земля всем телом обнаженным
о семени кричит,
ее желанье жжет.

(“Зулейха”)

В этом же стихотворении “уже железо спит, задремлет камень скоро, неслышный соков ток дерева клонит в сон...”. В ночной тиши происходит “бой семян с

землей”, ощущаются ”конвульсии корней от страсти молчаливой...”.

Земля, горы, скалы, стада, человек образуют в поэзии Шлионского нерасторжимое и гармоничное единство. Пионеры-халуцианцы, в прошлом горожане, оторванные от природы, стремятся слиться с нею, стать ее неотъемлемой частью.

И тело, точно степь, ночами расцветает,
и по нему всю ночь бредут стада зверей, –

– уверяет поэт в стихотворении ”Тела наши помнят”. И в этом нет ничего удивительного – ведь ”память наших тел древна, как память скал...”.

Лирический герой одного из стихотворений Шлионского мечтает ”стать козленком среди Божьих козлят” (”Мычит светило”), в другом же (”Как нёбу сладка...”) умоляет пустыню ”усыновить” его и простить ”рук белизну...” (признак оторванности от земли и природы).

Хлеб и вода, зерно и мука, даже хлев, овчарня и помет в стихах Шлионского предельно опозитизированы. Он никогда не противопоставляет будням поэтичность, святость, возвышенность; напротив, в его поэзии будни обретают все признаки возвышенного, без громких слов, без восклицательных знаков, без выпренности и экзальтации. Поэт словно создает заново мир, где явления, слова, ощущения и запахи вновь обретают изначальную свежесть.

Одно из средств, которыми достигается такой эффект, – библейская метафорическая образность. Она пронизывает все стихи Шлионского, придавая им ярко национальную окраску (и, заметим в скобках, весьма затрудняя работу переводчиков). Но это не цитаты, не ссылки, а образы, понятия, намеки, символы, ставшие неотъемлемой, органической частью стиха. Если бы мы вздумали перечислять и комментировать все библейские и талмудические образы, афоризмы, притчи, ска-

зания, которые взял на вооружение А.Шлионский, то объем этой статьи по крайней мере удвоился бы.

Среди множества библейских символов есть такие, которые часто повторяются и характерны для стихов Шлионского всех периодов: гора Нево (с ее вершины Моисей перед смертью обозревал Эрец-Исраэль, на которую ему не суждено было ступить), жертвоприношение Исаака (как символ величайшей преданности идее), разноцветная рубашка Иосифа (которой так завидовали его братья), неопалимая купина и так далее. Эти образы несут большую эмоциональную и смысловую нагрузку, и они особенно близки и дороги Шлионскому. К ним следует добавить специфические атрибуты еврейского местечкового быта (козочка, субботние халы, субботние свечи и т. п.), которых также у него немало.

Поэт увлекается игрой слов, особенно в стихах для детей, и достигает очень интересных результатов. Эта сторона его творчества менее всего поддается воспроизведению на другом языке, и все же нашим поэтам-переводчикам удалось дать читателю известное представление и о таком немаловажном компоненте его стиля. Вот несколько примеров:

Кто пыхтит там и ревет?
Это паро-верблю-ход!
На горбу ликует люд:
"Что за чудо кораблюд!"

Мы с Талли попали в страну Кверхногамию

.....
Сначала нам встретился ве-рыба-люд,
он плыл по пустыне, он шел через пруд.

.....
Жираф там вовсе не жирафище,
он там слеележираф.

Гадали мы долго, гадали мы всяко,
что значит

рогилла,
рамтвай
и осбака.

(“Я и Талли в стране Апочему”
в переводе А. Щербакова).

А. Шлионский виртуозно использует в своих стихах особенности еврейской грамматики, присущее ивриту богатство омонимов, специфику детской речи и даже форму букв еврейского алфавита. Здесь он поистине неисчерпаемо изобретателен.

“Рогилла, рамтвай и осбака” невольно ассоциируются у русского читателя с известными маршаковскими строками: “Нельзя ли у трамвала вокзай остановить”. Естественно предположить, что в данном случае А. Шлионский следовал известному литературному образцу, и не было недостатка в прокурорах, обвинявших поэта в подражательности, в низкопоклонстве перед зарубежной литературой и даже в космополитизме (обвинение, хорошо знакомое всем еврейским литераторам, жившим в Советском Союзе).

На это А. Шлионский отвечал, что в искусстве и литературе взаимодействие и взаимовлияние — процессы естественные и плодотворные. Он указывал на Менделе Мойхер-Сфорима, в творчестве которого заметно влияние Салтыкова-Щедрина, на Бялика, заимствовавшего некоторые мотивы у Некрасова, на Бреннера, учившегося на повестях и романах Достоевского. “Как будто есть кто-то, кто не учится у других и не “подражает”, как будто запрещено учиться, как будто грешно подражать...”. Как известно, именно Шлионский подарил еврейскому читателю целую библиотеку классических и современных произведений мировой литературы. Эта сторона его деятельности настолько важна, что Шлионскому-переводчику в нашем сборнике посвящена специальная статья.

Когда Шлионский появился на литературной арене подмандатной Палестины, общепринятое сейчас се-

фардское* произношение еще не укоренилось в еврейской поэзии. Крупнейшие поэты старой школы во главе с Бяликом и Черниховским (Фихман, Шимони, Яков Каган, Шнеур, Штейнберг и другие) писали свои стихи на ашкеназийский лад, к которому привыкли с детства и как было принято в тех странах, откуда они прибыли. Возникла парадоксальная ситуация, когда существовали как бы два иврита — один для повседневной жизни, другой — для поэзии. Представители старого поколения поэтов упорно доказывали, что ашкеназское произношение якобы музыкальнее сефардского, ритмически богаче, дает поэту больше возможностей для версификации и так далее. Авраам Шлионский своей поэтической практикой разрушил этот миф и не только увлек за собой поэтическую молодежь, но побудил и нескольких старых поэтов перейти в свой лагерь.

В одной из статей А. Шлионский уподоблял переводчика актеру. Талантливый актер должен обладать даром перевоплощения. Сегодня он с предельной достоверностью изображает короля Лира, завтра он — совершенный Хлестаков, послезавтра — потрясающий по убедительности Шейлок. Однако дар перевоплощения был свойственен не только Шлионскому-переводчику, но и Шлионскому — самобытному поэту. Некоторые его стихи звучат как откровенная демонстрация новой поэтической техники: и так, мол, можно писать на иврите... В этом отношении особенно характерны публикуемый в сборнике "Походный марш" и очень большое стихотворение "Ничего!" (78 строк), где есть прямые цитаты и ссылки на Маяковского, звучат его интонации и ритмы, позаимствована тема и некоторые образы, хотя по содержанию эти стихи сугубо сионистские.

* В иврите существует два основных произношения: ашкеназское (у евреев Центральной и Восточной Европы) и сефардское (у евреев Испании, балканских и арабских стран). В Израиле принято сефардское произношение.

В "Ярмарке" явно заметно влияние революционной поэзии Александра Блока. В ней цитируется советский фольклор времен гражданской войны ("Маруся отравилась...", "Эх, яблочко, куды котишься..."), что не мешает этой поэме быть ярко национальной и по форме, и по содержанию. Израильская литературная критика не раз отмечала также поразительную близость некоторых мотивов, образов и ритмов в поэзии Есенина и Шлионского. Особенно это заметно в стихах об одиночестве поэта в чужом и подчас враждебном городе.

А.Шлионский был свидетелем и участником величайшего события нашей истории — возрождения Еврейского Государства. Но вместе со всеми он пережил и величайшую трагедию нашего народа — мученическую гибель шести миллионов жертв фашизма. Еще в детстве и юности он познал ужас погромов. Все это с большой силой отражено в его поэзии. Такие произведения, как "Ярмарка", "Границы страха", "Козленок вернулся", "Бассейн в Майданеке", оставаясь достоверными поэтическими документами своего времени, в то же время — явления большой литературы.

Его работоспособность была феноменальной. Он мог трудиться, не разгибаясь, по двенадцать часов в сутки. Стихи Шлионский писал постоянно и везде, при всех обстоятельствах. Он никогда не знал отдыха. 15-го мая 1973 года, за три дня до смерти, тяжело больной поэт, узнав, что типография начинает печатать его новую книгу стихов, рано утром позвонил выпускающему и продиктовал две строки, которые сочинил ночью и которыми решил завершить книгу:

Сомкни мои веки, вечер,
сомкни мои веки.

Не было случая, чтобы, переиздавая свои произведения, он не вносил бы коррективов, хотя читатели и критика считали его стихи совершенными.

Велика роль А.Шлионского в воспитании молодых литераторов. Вся жизнь он находил и открывал новые

таланты, любовно работал над рукописями неизвестных молодых людей и щедро делился с ними своим опытом и знаниями. Не одному литератору А.Шлионский дал путевку в жизнь.

Ему принадлежит заслуга открытия гениального поэта-переводчика Бориса (Дова) Гапонова из Кутаиси. Главы его замечательного перевода на иврит "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, побывавшие в некоторых израильских издательствах, не привлекли к себе внимания. Наконец, они попали к Шлионскому, который сразу же оценил их по достоинству и не пожалел ни сил, ни времени, ни трудов, чтобы издать этот перевод в наилучшем полиграфическом оформлении — на специальной бумаге, с цветными иллюстрациями древних грузинских художников, под своей редакцией и со своим предисловием.

* * *

Вскоре после моего заочного знакомства со Шлионским и начала нашей интенсивной переписки (октябрь 1965 года), в Ленинграде было задумано издание сборника переводов стихов Шлионского. Тогда же я связался с группой молодых ленинградских поэтов-переводчиков (Майя Борисова, Поэль Карп, Майя Квятковская, Марина Пальчик, Леонид Цивьян, Елена Шварц, Александр Щербаков), и они с энтузиазмом начали работать по подстрочникам. Некоторые из переводчиков были до того увлечены творчеством Шлионского, что начали изучать иврит.

Заявка на публикацию сборника стихов А.Шлионского "Горы Гильбоа" была благожелательно встречена в двух московских издательствах — "Гослитиздат" ("Художественная литература") и "Прогресс" (разумеется, что содержание сборника, как и его название, были предварительно согласованы со Шлионским). В своем письме от 30 октября 1966 года А.Шлионский информировал составителя книги: "Два дня назад я был приглашен на встречу с советским послом, и он

мне очень любезно и дружески сообщил о решении издать большой том моих стихов в русском переводе и передал мне копию заявки...”.

14 октября 1966 года в Большом зале Ленинградского дома писателей имени В.Маяковского, в рамках устного альманаха ”Впервые на русском языке”, прозвучали в русском переводе около двух десятков стихотворений А.Шлионского вместе с моим коротким докладом о его жизни и творчестве*. Переполненный зал устроил поэтам-переводчикам овацию. Впоследствии они выступали также в ленинградском Дворце пионеров, молодежном клубе ”Восток”, в домах культуры и всюду имели заслуженный успех.

Все переведенные ленинградскими поэтами стихи были пересланы А.Шлионскому для просмотра и утверждения. Он дал им высокую оценку, хотя в ряде случаев попросил внести коррективы.

Шестидневная война положила конец этой большой и интересной работе. Стало ясно, что об издании книги стихов израильского поэта в Советском Союзе не может быть и речи. Несмотря на это, в течение ряда лет некоторые поэты-переводчики время от времени еще обращались к творчеству Шлионского. В 1970 г. два его стихотворения были помещены в машинописном ленинградском альманахе ”Зазеркалье”.

В 1978 году сборник ”Горы Гильбоа” был принят к изданию ”Библиотекой-Алия”. Помимо стихотворений, переведенных ленинградскими поэтами, в него были включены переводы москвичей Владимира Корнилова и Леона Тоома и израильского поэта Александра Пэнна из сборника ”Поэты Израиля”, изданного в Москве в 1963 году.

* Это стало возможным благодаря активной поддержке известного теоретика художественного перевода, редактора альманаха ”Впервые на русском языке” Е.Г.Эткинда, в ту пору — профессора Педагогического института имени Герцена, а ныне профессора Парижского университета.

Чтобы дать читателю более полное представление о творчестве замечательного поэта, в сборник были включены также стихи в переводах израильских поэтов — репатриантов из Советского Союза: Рахили Баумволь, Ефрема Бауха, Михаила Генделева, Амнона Гинзай, Владимира Глозмана, Веры Горт, Фримы Гурфинкель, Бориса Камянова, Рины Левинзон, Александра Сольда. Все они — люди очень разные по своему жизненному пути и творческому опыту. Наряду с известными литераторами, авторами многих книг, есть новички, только пробующие свои силы в искусстве художественного перевода. Наряду с поэтами, успевшими овладеть ивритом, есть и такие, которые делают лишь первые шаги в этом направлении.

Совершенно разные они и по возрасту, темпераменту, творческим симпатиям. Есть среди переводчиков убежденные сторонники точного перевода, предельно близкого к подлиннику не только по содержанию, но и по всем элементам формы. Есть и такие, которые переводят вольно, допуская отступления от оригинала.

Чтобы дать читателю наглядное представление о возможности по-разному интерпретировать одни и те же стихи А.Шлионского, некоторые его произведения даны в двух различных переводах.

В данную книгу включены стихи из всех поэтических сборников А.Шлионского, в том числе и детских. Стихи расположены в хронологическом порядке (за основу взято последнее прижизненное десяти томное издание сочинений и переводов Шлионского), за исключением первых двух стихотворений, открывающих сборник и посвященных горам Гильбоа, давшим название этой книге.

А. Элинсон

*Гильбоа — в этом слове тайна и намек
И благодать — голубкою влюбленной,
И запах тропок, и Великий Бог
Из повестей о верности Сиону.*

*Но это — и земли кусок. И сорняки
На ржавых склонах. И шакала стоны.
И горные стада виденью столь близки,
Что приносимый в жертву видит: вот ягненок*.*

*И если сын твой в жертвенном дыму
Увидит лунный серп, над горлом занесенный,
Знай, мама, что и вправду радостно ему,
Он, отрок, верит — быть ему спасенным.*

* Намек на жертвоприношение Исаака (Бытие 22). — Здесь и далее примечания составителя.

ПЕСНЯ

Не двугорбые застыли спины,
не верблюды отдохнуть легли —
то Гильбоа горные вершины
смотрят на простор родной земли.

Горы помнят: у подножья встали
белые, как голуби, шатры,
вместе с нашей песней вверх взметали
свой огонь полночные костры.

Горы помнят... Как могло случиться
то, что мы не помним старины?
Не роса ли в прядях серебрится,
и не песен ли сердца полны?

Нас лаская светом беловатым,
словно в юности, луна плывет.
Сердце распахнулось, как когда-то,
и ворота больше не запрет.

Не вино пьянило нас — от дома
к роднику направили мы путь,
дабы вновь идти путем знакомым,
дабы снова песню затянуть.

Пойте! Хорошо в полночной сини
эту песню слушать мне опять.
Пусть она хребты Гильбоа сдвинет
и заставит с нами танцевать!

Есть обычай — в праздничном веселье
посвящают песню пастухам.
Ну а я в пустыне слезы сеял*...
Песня эта — воздаянье нам.

* Парафраз известного изречения "Сеявшие со слезами пожинают будут с радостью" (Псалмы 126:5).

ОТКРОВЕНИЕ

...А отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илии были люди негодные... Илия же был весьма стар...

I Самуил 2:11,12,22

Слышу: меня зовут.
Голос в ночи звучит.
— Кто тут? —
Молчит...

Эли сказал:
— Сынок!
Это — не Божий глас.
Я уже не пророк.
Зренье ушло из глаз.

Снова зовут меня.
Голос в ночи суров.
Как же осмелюсь я
Ответить, что я готов?

Полночь. Эли рыдает. Слышу его стенанья:
"Сыновья мои... сыновья..."
И вот я уже согнулся под тяжестью мироздания.
Отныне за все сущее
Ответственен я.

Я знал, что Господь явится в раскатах
грозовой полночи
И в небе заблещут молнии, словно осколки лун.
Я знал, что Эли состарился.
Что сыновья его — сволочи.
А я еще — слишком юн.

* * *

Чахоточным надрывным кашлем
над днем моим, уже вчерашним,
хрипел закат — и харкнул облачною пеной.
(И крови лужица из горла
его стекла с последним кашлем).
О день мой, память о нем благословенна!

О, древние Псалмы — стихи что золото —
на небесах моих до синевы глубоких.
Кто вытрет слезы осиротелым,
из дома в дом пойдет утешить
всех обездоленных и одиноких?
Ведь их так много на свете белом.

Несите факелы похоронного шествия! Громче
провозглашайте: "Й и т г а д а л*..."
Пылайте, свечи!..
Как евреи в сумерках ранних к молитве —
придут, закутавшись, ночи
и молча подымут гроб на свои плечи.

* * *

Наездник Мира — солнце — в небе день-деньской
все скачет
через тридевять земель.
Натянув лучи-поводья, колесница быстро мчится, —
только где же — цель?!

* *Йитгада...* — "Да возвеличится..." — первые слова молитвы
Каддиш.

Задрожал в седле вдруг всадник, ощутил свое сиротство,
тайный лед сердец.
С трепетом читает "Каддиш"* . Черный гроб везут,
выносят,
а в гробу — мертвец.

Отпустил поводья всадник, в плащ укутался и скрылся
в темноте.
Тут и вышла ночь, повесив башни, замки световые
в пустоте.

И все поняли: таится дрожь сиротская, под спудом
сдержанность храня.
В черной траурной одежде, ластясь, ночь-вдова прильнула
к телу дня.

* Молитва, которую читают на похоронах.

Я Р М А Р К А

(поэма)

1

Тела, что с виселиц сорвались,
На этой ярмарке собрались.
И кто-то поет в экстазе: "Вниз!
Опустимся, чтоб вознестись!"

Забыты стоят на Голгофе кресты —
Лишь завывают псы.

2

Шлюхи, ворье, пьяные рыла.

И вот — я тут!

Пел я осень. Да, это было.

О маме, о доме сердце ныло.

И вот я пьян, среди воров и шлюх.

И вот — весна отравила мой дух.

Да здравствует блуд!

Израненный, сник заката багрянец,

И кто-то плачет о сыне.

Голгофа полна блудниц и пьяниц,

И я — с ними!

3

Я, еврей из Немирова, Проскурова?

Греми, труба, во сто крат!

Здесь все мое: крест, кровь и зарево,

А тот, в Назарете, — мой брат.

Громче и громче труба поет.

Бреду, не остановлюсь.

Здесь все мое! Здесь все мое:

Варрава и Иисус.

Кониной и мертвечиной торгуют налево-направо,
 А солнце апрельское ухмыляется,
 Как шляха с мокрым подолом, что вылезла из канавы
 И шарманка старается.

Пели: "Маруся отравилась"...
 С гармошками, балалайками.
 А я вспоминал,
 Как глумились над Сарками, Хайками –
 Мой череп склепом их памяти стал.
 "Моя Россия – отравилась"!

Объявили: Эй! Всего лишь полушка!
 Даром хватай!
 Карусель, зверинец, цирк и кинушка!
 Эй, налетай!

Рыкают звери, крови алкая,
 Клоун бренчит бубенцами.
 С ревом струится река людская:
 Миллионы нас, нет конца нам.

Занавес взвился зарею алой,
 Солнце затмили флажки.
 И вдруг – смотри: багрец разодрали...
 На дурацкие колпаки!

Гляди-ка, мертвого несут.
 Пустой живот.
 Прости-прощай!

Шарманщик? Ты не нужен тут.
 На грошик. Вот,
 И прочь ступай!

И мир поник с пустой сумой:
 Усталость, гнет.

Эй ты, вчерашний, нос гнилой,
 Пшел, попадет!

Вой, шарманка, жарь, гармонь,
 Шут, не жалея ужимок:
 Вот прикатили шар земной,
 Выкатили на рынок.

Он на ветру – пустая бочка
 Под пьяную разноголосицу:
 "Эх, яблочко,
 Куды котишься"...

Да, пуст бочонок. Кто посмел
 Вино все выпустить?
 Мильоны собрались лакать,
 И – накось, выкуси!

Э, к чертям собачьим, братцы!
Неуемна ты, душа!
Сколько стоит покататься?
Карусель – за два гроша!

На конька я сел, и ннутка!
Динь-дирина-да-дин-да-дон!
Что за штука, что за штука:
Шар земной, как этот конь!

И в душе, пустой, как склянка –
Дзинь-да-дзень-да-дредень!
Карусель за грош, а глянь-ка:
Уж прошел, как не был, день!

Балалайки воют, ноют,
Бреньк-и-бряк!
Позабыты Сарки, Хайки...
Войте, нойте, балалайки:
Среди воя – что я, кто я?
Так...

Мир увечен, миру трудно?
Ну и что!
Мир в запое беспробудном?
Ну и что!
Мир – всего лишь карусели,
И в круженье – все веселье!
Где там головы слетели?
Где там голоден бедняк?
Карусель – моя твердыня,
И на том сказал "аминь" я!
Так!

УРОЖАЙ

1

Кто здесь шел? Кто прошел по земле этой старой?
Это чье дерьмо? Кем трава здесь помята?
Здесь прошел пастух с овечьей отарой,
это овцы роняли орешки помета.

Вы кричите, что это неблагородно.
Я сказал: мое сердце — понесшее поле,
ваши звезды ему — что навоз плодородный.
От кого понесу? Кто войдет ко мне с болью?

От кого понесу я? Безлюбо и серо...
От бушующих соков живых мне невмочь!
Вот убрался мой день, как старик Потифера*,
словно тело Зулейхи, жарка моя ночь.

Как Иосиф прекрасный, как в будни надежда,
приходит печаль. "Ляг ко мне — и зачну!"
Но Иосиф рванулся — оставив одежду,
убежал от объятий. Теперь не заснуть...

И Зулейха томится на ложе недобром.
Но земля понесла — семя в лоне живет,
ибо жирный навоз щедро поле удобрил.
Вся земля — огромный женский живот.

* Потифера (Потифар) — царедворец, в услужении у которого находился проданный в рабство Иосиф. Жена Потифара пыталась соблазнить красивого юношу, но, потерпев неудачу, оклеветала его, в результате чего он оказался в темнице фараона.

О земля, я шею гну под ярмо!
 Как телица, сгибаю ее неумело.
 Где стрекало? Где плуг? Мое поле мертво!
 Я вспашу мое поле. Веди меня. Сэлла!*

И пусть будет оно даже черство, как камень,
 Я не стану завидовать полю соседа —
 свои травы скошу своими руками
 и из ясель своих буду есть свое сено.

Вот я шею согнул. Веди меня. Сэлла!
 Твое семя жажду познать я.
 Как лицо Дездемоны в ладонях Отелло,
 Я лежу в твоих грубых объятьях.

Как вы пели про сердце: чертоги, и храм, и дворец!
 Украшайте ж его, коврами его застелите!
 Мое сердце — будь хлев, будь загон для овец!
 Козы, овцы, войдите и в нем поселитесь,

ибо мил мне навоз плодородный в сердцах.
 Приходи ко мне, скот, размножайся, плодись!
 Пусть бурлит молоко в ваших добрых сосцах,
 пусть навоз ваш удобрит поля и сады!

Как вы пели про сердце: звезда среди тьмы!
 Я ж для стад моих пастбищем стать пожелал.
 Ваши звезды, плоды недозрелой хурмы,
 я давно уже с неба сорвал и сожрал.

* Восклицание, встречающееся в Библии, чаще всего в Псалмах Давида, точное значение которого неизвестно. В некоторых случаях, судя по контексту, означает "Навеки" и "Да будет так". Обычно завершает строфу, стих или псалом.

* * *

Мычит светило. Круглой головой
из хлева Божьего кивает снова.
Вот, Боже милостивый, образ Твой —
мычащая, лобастая корова.

Рогатое стадо в долину идет
и гуляет там — пока не вечер.
Господь пасет свой мелкий скот —
род человечесий.

— Проголодался?
— Нет!
— Чего ж здесь ищешь? — Хлеба,
немного воды. Милый брат,
мало мне надо — мне бы
стать козленком среди Божьих козлят.

* * *

Последний прохожий в ночном городке —
Шагам со счета не сбить тишину.
Усталые лица у всех этих домишек,
Прилегших соснуть.

Слоняться ль по улицам? — Эти следы
Ветер хвостом заметет.
Пойти ли в ту комнату, что как гроб
Покойника ждет: "Он придет..."

Ветер в полночь залает — но кипарис
Прячет уши в ночное дно.
Каждый ставень бессильной ресницей глядит —
Этот глаз раскрыть не дано.

Лучше уж и мне покориться сну:
Ставни глаз будут затворены,
Пока заря, как осенний лист,
Не коснется усталой спины.

* * *

Владыка вселенной!
Есть солнце среди Твоего мира,
И оно — как рог золотой,
Зовущий паломников на службу Творцу.

Владыка вселенной!
Есть луна посреди Твоего мира,
И она светит,
Как тфилин* золотой на прекрасной Твоей голове.

Владыка вселенной!
Есть человек посреди Твоего мира,
И он сотворен по образу, и кровь во всех его жилах —
Частица Бога с высот.

Но Владыка вселенной!
Есть самый малый из тысяч Израиля,
Которого Ты сотворил
И наделил его тело членами,
Ни одного не убавив из числа "ремах"**.
Но почему Ты его сотворил земледельцем с серпом,
Который хлебов не нашел в разгар косовицы?

О, почему, Владыка вселенной!

* Тфилин, или филиактерии — небольшие коробочки со священными текстами. Накладываются мужчинами во время утренней молитвы на лоб и левую руку.

** Сумма букв этого слова — 248 (в еврейском алфавите буквы имеют также числовое значение). Древние мудрецы считали, что тело человека состоит из 248 членов.

В ПАЛАТКЕ

Палатка. Осень. Кто заплакал,
дождем исхлестан: "У-гу-гу"?
Не то шакал, не то собака,
и капли слезные бегут.

Кап-кап, кап-кап, конца не жди,
идут дожди, идут дожди.

Так только осень плакать может,
и мальчик, ставший сиротой,
когда вверху погасят с дрожью
сиянье свечки золотой.

Кап-кап-кап.

Не напишу я ночью этой
письма и не зажгу свечей,
мать у меня осталась где-то,
но сирота я, горе ей.

Кап-кап.

В палатке холод, и напрасно
собаке в темень завывать.
Кому как не собаке ясно,
что не придут отец и мать.

Кап.

ПОХОДНЫЙ МАРШ

Левой! Левой! Левой!

В. Маяковский

Шагайте же, братья,
все выше и выше!
Кенаан* — родная земля —
да услышит!
Молчите, уста!
Сильна и крепка,
слово тебе, трудовая рука,
нога,
что вгрызается в землю лопатой!
Твердо шаг в эту землю впечатай,
единой шагая левой!
Левой!
Левой!
Левой!

Так, братья,
всю жизнь устремляться нам в горы!
Лишь в Завтра, в зарю
обратим наши взоры,
туда, где орел парит с высоты!
Ведь мы за собою сожгли все мосты!
Кто тянет назад нас
походкой ленной?
Левой!
Левой!
Левой!

* Кенаан, или Ханаан — одно из древних названий Эрец-Израэль.

Ясно,
мы знали,
мы шли без сомненья
из стран заселенных —
в страну запустенья,
в болота,
в песок, что веками намолот,
где ждут нас
жара, лихорадка и голод,
но знали мы твердо —
сюда мы придем
и вновь возродимся,
хоть семь раз падем!

Наше дело правое,
так громче — голос припева!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ

Геройство — оно человечно всегда,
за это пред ним преклоняем колени,
и начав с азов, не жалея труда,
пришли мы продолжить дела поколений.

Пришли — и восстали, чтоб твердой рукой,
по праву наследников, рушить запреты.
Недаром мой дед, как будто живой,
глядит на меня из рамы портрета.

У книжного шкафа все дали видны...
Из ночи к заре, кто с лопатой, кто с плугом,
шагаем безверья и веры сыны,
а летом — снопы нашей древней страны
снесем,
и склонимся друг перед другом.

ЛИЦОМ К ПУСТЫНЕ

(поэма)

1

Века, забыт и одинок,
как древний мамонт, спал песок.
Его безмолвных троп
и вех
давно не трогал
человек.

И лишь по вечерам, над сумраком пустыни
случайный ястреб, закружив,
застынет.

И караван верблюдов под луной холодной,
мелодией дремотной
тишь баюкая,
поет:

”Спи, песчаная подруга,
спите, камень и гранит”.
И по ветру тонким звуком
бубенец звенит.

То царь пустынь шагает, покоряя
бесплодный край — от края и до края.

2

Вдруг заступ засверкал, дробя оков тиски,
и заревели камни и пески:

”Кто он, дерзнувший
стальной рукой
встревожить наш
седой покой?!”

И рев и свист по дюнам поседелым,

и закипело дело:

”Ссыпайте гравий! Мамонт нем
зажат в бетонной западне!”

Вонзенный заступ глухо пел.

Песок ползучий свирепел.

3

К стенам лестница прямая
льнет со стоном.

Руки мечутся, вздымая
груз бидонов.

Весь в пыли, куда ни стань я —
стану твердо.

Бунтари, послы восстанья —
эти ведра.

Я сломил тебя, свободный
царь пустыни.

Принесешь цемент сегодня
также ты мне!

Чтоб унять шакалов стоны,
ветра вой,
силу цепкую бетона
ты удвой!

В испуге диком с высоты холмов
шакалы видят призраки домов.

4

Сыпучая масса
застыла, осев.

Песок опоясан
веселым шоссе.

Асфальтом распорот,
из дверей и ворот
построенный город
стремится вперед.

Шакалы умчались, тоскливо крича:

– О горе!..

И мамонты, вздрогнув, сгрудились, ворча:

– Хоть в море!..

Владыка степей, спасаясь, рычал:

– В пустыню, в горы!..

А белый город,
звонко, споро
грянув хорой*
на просторе,
песню бодро
пел о ведрах:

”Ведро массу льют и льют!
Ты спеши, спеши, верблюду!
Руки строят – хоть малы –
Я-хай-ли-ли-амали**!”

5

Так месили руки тесто из цемента и песка.
И пустыня отступала, пригрозив издалека.

Мы не знали, где засада, где застигнет нас аврал,
а верблюду верблюду тихо тайну мести поверял.

* Хора – популярный израильский групповой танец. Часто сопровождается пением.

** Я-хай-ли-ли-амали! – трудовой возглас, своего рода призыв, лозунг. В свободном переводе – ”Да здравствует мой труд!”

”Ведь посмели!..
Что ж, истопчем их, губителей пустынь!”
И сухой петлей удушья заарканил нас хамсин*.

6

Я ночью у окна — бессонный узник лета —
сквозь черное стекло увидел:
из песка
огромный призрак в образе скелета
хохочет, обнажив зубов крутой оскал.

Я вышел — никого.
Вернулся — он за мною.
Спросил я: ”Ты — к кому?
Ответь, исчадь зноя!”
Молчит. И лишь
скелет качался, стоя,
как камыш.

Я повторил: ”О, кто ты, кто ты?
Ты бред иль человек живой?”
Вдруг —
свист,
и взмах,
и хруст, и топот
песчаных масс по мостовой.

И шорохи — ниц.
Пески, колесом
кружась, расстелились
наносом густым.
В сиянье зарниц
стою я лицом
к лицу с властелином
гордых пустынь.

* Хамсин — горячий ветер пустынь.

Настиг меня твой знойный гнев,
 пустыни грозный повелитель!
 Вовек простить не сможешь мне
 вторжения в твою обитель.

Твоя краса — дремота сил,
 колючих кочек сыпь и хвоя.
 Я песней восходов золотых пронзил
 твое бесплодье вековое.

Я знаю, ночью ты без слов
 молитву мести раскаленной сплунешь
 и в глубине небесных куполов
 наточишь нож кривого новолунья.

Но мне не страшен
 час расплаты,
 я здесь на страже
 стою с лопатой!..

...И снова руки месят жижу, снова пламенные лица,
 а столица веселится — все б ей песней бунта литься:

Город, сыну
 дай лопату!
 Ливнем синим,
 счастье, падай!

Выше, к небу,
 тверд и горд!
 Была небыль —
 будет город!

Флагом реет
гимн бетона!
Мощь хиреет
шабатона*!

Асфальтом распорот,
из дверей и ворот
построенный город
стремится вперед.

* Шабатон – полный покой; здесь – в смысле косности природы.

В ЛОДКЕ*

Взлетели весла, лодку в море увлекая,
как ножницы, Вчера от Завтра отсекли.
Служитель судеб мне дает бокал: "Лехаим!
Попробуйте вина чужой земли".

А ведь моя рука мне даст вина напиться,
наполнила бокал рука моя,
лишь мачта вдалеке, как труп самоубийцы,
качается; быть может, это я.

Отставлю я бокал, хлебнув совсем немного;
вперед, опять назад, к черте береговой.
Извилистая пусть мне предстоит дорога,
ты слишком прямо держишь, рулевой!

В ШЛЮПКЕ

Рванулась в океан ладья. Вчера от Завтра
отполоснула, как прошлась ножом.
И вот в руке моей зажат бокал заздравный —
Вино чужбины для презревших дом.

— Лехаим, адони! — промолвил странный кельнер.
Послушно тянется ко рту рука.
Как всплывшего со дна самоубийцу, мерно
качает шлюпку. Призрак ждет глотка.

Хлебну. Нет! Прежде я сведу концы с концами
моей судьбы наперекор морям.
Молю, толчок назад, начни мой путь витками,
не будь же, штурман, так нещадно прям!

* Даем для сравнения два разных перевода одного стихотворения.

ОТПЛЫТИЕ

Откуда-то вышли,
придем не навеки
куда-то, сюда лишь свернув по пути.
Зачем нам на каждой горе ставить вехи?
Здесь ночь проночуем, чтоб дальше идти.

На этой короткой стоянке, скажите,
ну кто среди нас — у ветрил, у руля —
пришелец, чужак,
постоянный здесь житель?!
Мы все — моряки с одного корабля.

Здесь только привал.
Вон — луна в поднебесье —
серебряной лодкой на синей волне.
Не знаем их танцев,
не знаем их песен,
мы — гости на пире в чужой стороне.

Не будем сердиться
и мешкать не станем,
назад не свернем.
Путь один лишь нам дан.
Грехи моих братьев простил я заране.
— Отчалить! —
из рубки кричит капитан.

ДРЕМОТА

Все суета. Стих этот — древний,
не первый я его изрек.
И не единственный из всех я,
кто поздно встал и рано лег.

И так я буду бесконечно
лежать с ленцой; мне все равно,
что мордою усталой полдень
глядит ко мне через окно.

Мне все равно, мне безразлично,
придет ли кто иль не придет.
Вон — улица, как я, зевает,
тоскливо разевая рот.

Мне все равно, снова ли будут
такси иль улица пуста.
Господь сегодня подтверждает
тот древний стих: все суета.

ИСКУШЕНИЯ

К несчастью, мне сопутствует успех.
А вы бы мне не так уж доверяли,
Поклонники мои... Я на глазах у всех
В глаза отцу родному посмотрю едва ли.

Ведь он мне наказал: взбирайся выше, сын!
Средь одиноких скал восходы лучезарней.
Сквозь тернии — к сиянию вершин! —
А я своим заделался здесь парнем...

Как много улыбающихся ртов
И лестных слов разменная монета.
На каждый зов я побежать готов, —
Предстать пред тем, кто спросит: — Где ты?!

К моим услугам славы экипаж.
Я, кланяясь учтиво, проезжаю
Средь возгласов толпы, входящей в раж.
Я еду в никуда — я это знаю!

Я знаю, это страшный гонорар,
Его дают тому, кто продается.
И с каждой похвалой растет вокруг базар.
Во мне меня все меньше остается...

Кто волосы мои так ловко окорнал?..
Я вижу ножницы в руках Далилы...
Отец, я изнемог. О, если бы ты знал! —
Я так устал приятным быть и милым!

ОБИДЫ

...Ни изваяния, ни рисунки,
не передаст и этот стих,
как скрипку бережно скрипач безрукий
нес на остатках рук своих

(так держат лишь ягненка-однодневку) .
Как шел сквозь шум и гам слепой
(беда иль благо?) . Верный человеку,
пес вел его по мостовой.

И как заржала лошадь под машиной —
(орущего в пустыне глас!),
и лишь один из проходящих мимо
оплакивал ее и нас.

Есть тысячи обид на Божьих тропах,
и боль, заложенную в них,
не передаст ни краска на полотнах,
ни камень и ни этот стих.

И ВСЕ ЖЕ – НЕ ПРОСТО

Муза, спой мне песню ныне –
петь ее ты вправе –
о селе на Украине,
городе Полтаве,

про село в дремучих лесах,
листопад и скуку,
спой мне дедушкину песню,
ту, что пел он внуку.

О прохожем, что по селам
стародавним шляхом,
молчаливый, невеселый,
шел, покрытый прахом.

Из какой бы дальней дали,
из какого края?
То – Илья-пророк – гадали,
или, может, Каин?

Непричесанный, суровый,
в скудной одежонке...
Из сумы своей холщевой
высыпал избенки...

Крюков – Крюково* – село ли,
знак недоброй воли?
У сынов его по свету
обнаружишь мету:

каждый – странен, неприкаян,
одинок, бездетен.
То Илья-пророк иль – Каин
каждого отметил.

Село на Украине, родина поэта.

ГРАНИЦА СТРАХА

От Кременчуга до Крюкова — час и четверть ходу,
час с четвертью дорога Крюков — Кременчуг.
Не понимал ребенок, что тут — закон природы,
и думал: что за волшебный странный круг!

Что означало "там" — глухой далекий остров? —
Наивный и доверчивый ребенок все гадал.
Однажды в одиночестве он дошагал до моста,
но тут он встал, как вкопанный,
и горько зарыдал.

Рука печали вдруг
неслышно, но упрямо
меж "здесь" и "там" границу провела навек.
Не понимал ребенок, что папа здесь и мама,
а там, в ночи зверея, точит когти человек.

С тех пор как будто сдернут с вещей покров красивый,
и отчужденность — холодом взошла на лицах вдруг.
Теперь он знал:
покров — лишь оболочка взрыва,
и потому испуганно внимал всему вокруг.

Так значит, могут дерево вырвать вдруг из почвы,
дома внезапно сдвинуть с своих обычных мест.
Под этим звездным куполом, во мгле застывшей ночи,
всегда таится кто-нибудь и замышляет месть.

И город лишь темнел, вставала мгла в округе,
а чьи-то руки шарили кругом...
Он, как овца в овчарню, вдруг убежал в испуге —
искать спасения —
в знакомый отчий дом.

РАМБАМ И БАКУНИН

Стены комнат — пергамент: пугающ, ветivist,
глас пророка сокрыт в каждом миге.
Плоскость каждой стены, словно титульный лист —
за семью печатями Книги.

Кто пылинки твои может счесть, прах времен?
Стрелки хрипнут в натужности брэнной.
Вдруг сойдет (о наивное детство мое!)
чей-то облик из рамы настенной?

Вечер входит на цыпочках в сумрачный зал.
О, как давят меня стены эти!
Реб Моше бен Маймон строго смотрит в глаза
Бакунина — на портрете.

Что вдруг подем вечерним запахло? И где
тайна прячется солнечным бликом?
Два крыла, два сиянья-нимба: Эс Де —
видит мальчик над маминым ликом.

Среди стен, среди тайн — полумрак, полусон,
хор "Эй, ухнем" — раскатисто-ровный...
А в углу — голоса, и дядя с отцом:
Хашилоах*.
Хабад.
Центр духовный...

* Популярный ивритский журнал, основанный Ахад-ха-Амом в 1896 г. в Берлине, в котором он проповедовал идею создания в Эрец-Исраэль еврейского "духовного центра". В этом журнале публиковали свои произведения лучшие еврейские писатели того времени.

Все так странно. Таинственно.
Трепет в груди —
мальчик слышит (наострены ушки):
спорят в книжном шкафу Мохарар из Ляди*
и Александр Сергеевич Пушкин.

НА МОТИВ ШЕВЧЕНКО

У Михайло голос звучный
чудного оттенка,
все поет мне в ночь, все учит
песенкам Шевченко.

Ночью мать — отцу: — В подполье...
Решено... Кто знает...
Революция... О воле
хлопец распевает.

О бессилье и надежде,
хлебе и восстанье.
Каждый вечер, как и прежде,
папа мой — над Таньей**.

ДОМ У РЕКИ

Дом, что у самой реки.
Тонут в воде светляки.
Блики луны на воде.
Быть этой ночью беде.

Манит зеркальная гладь
И зарекает молчать.
Тонет — всплывает луна.
Тайну хранит глубина.

* Основатель и вождь Хабада, рабби Шнеур Залман из Ляд (1747–1813).

** Основной философский труд Шнеура Залмана из Ляд.

Бездна молчанье хранит.
Кто этой ночью не спит?
И почему человек
Уж не проснется вовек?

Плещется тихо вода.
В доме соседа беда.
Гаснут к утру светляки.
Где же тот дом, у реки?

ДЕНЬ И НОЧЬ*

Плоть внимает Дню,
кровью же властвует Ночь.
Этот разлад, словно бездну, —
не превозмочь.

Не избавиться крови от цели своей,
не помогут ни боги, ни гномы.
День — квадрат с парой глаз. Ночь — иная совсем,
и взирает на мир по-иному.

ДЕНЬ И НОЧЬ

Плоть внимает дню,
А кровь внимает ночи.
Вот и все.
И понимай, как хочешь.

У крови — рок, судьба, стезя.
И тут башки бессильны меднолобые.
У дня квадратного свои глаза.
У ночи — глаза особые.

* Публикуем два разных перевода стихотворения.

ПОЛНОЧЬ

Ты — секрет. Ты — душа. Что тебя толковать?
Ты пьяной рукой сознания
все клетки зверинца спешишь открывать,
не сообразуясь заранее.

Ум — это д е н ь. Сумасброд, что бинтом
обмотан по самые уши.
А ночь — полыхающий запертый дом
с ключом, оброненным снаружи.

Утром страстную ночь отрезвляет синь —
руки в судорогах каменеют.
Ночь — это вопль: помоги, Всесильный! —
А в ответ: не могу, не умею.

Кнутом полоснуло лесную, с ветвей,
душу, — и, дикая, —
радуется
и ярится.
Что ж,
ты был поэт, чтоб задобрить зверей, —
вот ты и идешь
в зверинец.

КОЗЛЕНОК ВЕРНУЛСЯ

Вечер смыл дневную пыль
И спать завалился, бездельник.
Кто там? Сказка то или был?
Козленок
из колыбельной!

Я сразу поверил. Отвесил поклон,
Как месяц — озерным теням.
Таким человечным вернулся он —
взрослым,
усталым,
полным прощенья.

Привет! По глазам узнал я тебя,
По козьему их мерцанию,
По скотьему гимну "ме-е" и "бя-я",
Вечному, как мирозданье.

А я?

Погоди, не спеши с приговором.
Может, хитрым кажусь я тебе?
Мальчуган, изучавший Тóбу,
Еще тянет (как ты!) "а" да "бе"...

Белоснежно руно твое, козлик, как встарь,
Хоть изрядно его потрепали:
Год *тарцах**, что пятнает стенной календарь, —
Будто слово "убий!" на скрижали.

Тридцать восемь ступеней, объятых огнем,
Я по жизни прошел с того дня,
Когда за изюмом и миндалем
Ускакал ты, покинув меня.

Козленок ушел,
И ребенок ушел...
А ступенек было так много,
И ряд их в далекое небо вел
От мальчика с козликом — к Богу.

* По еврейскому календарю *п'וצ'л (тарцах)* — 5698 год (каждая буква еврейского алфавита имеет также числовое значение), что соответствует 1938 году по гражданскому летоисчислению. Этот год ознаменовался кровавыми беспорядками в Эрец-Исраэль. Это же сочетание букв можно прочесть и как *тирцах*, что означает "убей".

И камни из стен без грусти глядели,
Не плакали, как теперь.
Теперь же...

Под каждую колыбелью
Прячется хищный зверь.

Склоняется мать над детской кроваткой,
И просит песню сыночек...
Не в силах она ни петь, ни плакать.
Лишь волк завывает к ночи.

Но мне ты даришь и смех, и слезу.
Во мне и отец, и сын.
Как Красная шапочка, в волчьем лесу
С лукошком брожу один.

Но вот однажды – было темно
На дорогах сказочных далей –
Как рубашку Иосифа, мне руно
Окровавленное
показали.

Мир праху козленка!
Но мучил меня
Запах крови, что шел от руна.
Я думал:
Как петь без козлят, без ягнят?
Будет ли песня чиста и ясна?

Искал я тебя, о косматый брат мой,
Плакал и пел, и слагал стихи.
Я знал: далеко от молитв и проклятий
Несешь ты в пустыню людские грехи.

Уж нет в сердцах былой чистоты,
И нет зеленых лужаек.
Мы – жертва за грех: и я, и ты
На чужих грехах возмужали.

Козел отпущенья.
Закланья телец.
И сын – жертвоприношение.
Домой я вернулся, как ты, наконец:
Взрослым,
усталым,
полным прощенья.

НА УХО РЕБЕНКУ

Не вымысел это, не сказка из книжки
Для малых детей, а глава бытия.
Живали-бывали однажды парнишки.
Одним из парнишек, представьте, был я.

Что годы промчались, не я в том повинен.
Ведь стать пожилым – это участь, не цель.
Я детство провел в степной Украине –
Земле среди многих галутских земель.

Яркон и Киннерет – душа наших песен,
Которые мы вдохновенно поем.
Но Днепр Украины, он тоже чудесен,
И сложено множество песен о нем.

Он ластился каждой волной своей зыбкой
Он хлебом насущным впитался в меня,
И мне золотою мерещилось рыбкой
Днепровское солнце высокого дня, –

Когда не понять – где конец, где начало,
Кто в ком отражается – не разберешь.
Ты неводом руки раскинешь, бывало,
И ловишь лучей золотистую дрожь.

Но сладкую грусть передать мне едва ли,
Что сумеркам на Украине дана.
О, как они детское сердце пленяли,
Когда я в те дали смотрел из окна!

А сумерки были как тайна, как чудо.
Писал я для взрослых об этом не раз.
Но взрослый лишь ясное ищет повсюду.
Не любит он тайн. Вся надежда на вас...

От взрослых услышишь: чудак ты, однако!
Мнишь времени вспять повернуть колесо...
А вам-то понятно, что можно заплакать
Без всякой причины. Взгрустнулось, и все.

Прислушались люди к поэту большому,
Когда он сказал, непомерно грустя:
"О, Господи! Мир Твой подобен Содому,
Покуда одно хоть рыдает дитя".

Немало ночей пережил я ребенком,
Когда колотили прикладами в дверь.
И вечером, как постучат ко мне громко,
Запрыгает сердце даже теперь.

Любил у Днепра я ходить вечерами
Один, замороженный, словно во сне.
Ведь это случалось, наверно, и с вами:
Вас что-то пугает и тянет вдвойне.

Мне было до трепета страшно и странно:
Вот день вдруг в небесном просторе иссяк,
Вот солнце скатилось кровавым бараном —
И ангелом Божьим спасен был Исаак...

Сплетались деревья в узоры тугие.
Тут жертвенником разгорались одни,
А там богомольно качались другие
Деревья, которые были в тени.

Но хлопчик Михайло, хоть рядом стоял он,
А чуда великого не замечал, —
Что небо час вечера благословляло,
Что шепот Днепра как молитва звучал.

Всплывала луна, как субботняя хала,
А небо мерцало пучками огней, —
Как свечи, которыми мама встречала
Субботу — особенный день среди дней.

А в ночь посветлее нужна была малость —
И вот уже Днепр семисвечья зажег...
Луна тогда яблоком мне казалась,
Насаженным в Симхат Тора на флажок.

Но я не забуду той ночи ужасной —
О, Днепр! Твое вдруг потемнело чело.
Течение схватило луну, что погасла,
Как мертвую птицу, ее понесло...

Рыдающий город представить вам трудно —
Когда не спасает, что дверь — на засов.
На улицах гулких темно и безлюдно.
Погромщиков топот и вопль беглецов...

О прошлом вы знаете только по книгам,
Со страшных пророческих слов "ма милейл"*,
На мне же те ночи — подобно веригам,
И память воздвигла в душе мавзолей.

Я страхами в детстве обязан погрому,
И я повторяю полвека спустя:
О, Господи! Мир Твой подобен Содому,
Покуда одно хоть рыдает дитя.

* "Что случилось этой ночью?" — переключка иерусалимских стражников (Исайя 21:11. Из пророчеств о погибшей Идумее).

Из цикла
ВСТРЕЧА С ПЕЙЗАЖЕМ

1

Как страстно и странно
мой взгляд вдруг отпрянул,
рука моя зря потянулась — погладить
сухой сикомор, что корнями поляну
обвил, обезводил. Глотну-ка из вади.

Пытаюсь прошамкать слова то и дело:
быть может, узнают — терновник, овца ли
и поле мое, что совсем облысело, —
узнают меня и признают? Едва ли.

Гора, что горбом напряглась, словно к бою
готовится бык,
пыль равнинную месит.
В ноздрях дикаря — кольцо золотое:
днем — солнце, а ночью — серебряный месяц

3

Дремота в пустыне. Застигнутый ночью,
что тяжко справляет свое торжество,
подобным себе видит каждый воочью —
кустарник ли, зверь ли — свое божество:

косматою кроной, рогатым по-бычьи,
растущим ли, вьющим ли стебли в пыли
и жадно держащим в зубах, как добычу,
цветущую, жирную глыбу земли.

И рвутся из тьмы их кровей, из багровых
артерий наружу — их страхи и страсть, —
с мычанием, шелестом, стоном и ревом
наружу,
молитвой в ночи становясь.

4

Как нёбу сладка́ моему, словно лóмоть,
молитва — как хлеб, на губах моих стынет,
как воды ручья, что от холода ломают.
Молитву свою обращаю к пустыне:

Прими же как сына, любя, неотступно,
как куст, пред которым склоняют колени,
песком золотым пропыли мои ступни.
Вот руки твои обнимают творенья.

Грудь матери так же ребенок ласкает,
прими же как сына, — молюсь я пустыне, —
взгляни же, как пряди летят над висками,
прими же, и рук белизну ты прости мне.

ТАКАЯ НОЧЬ

Я ухом глухим не расслышал истоки.
Чтоб видеть — слепые глаза не открыл.
Есть жесткие ночи — глухи и высоки —
без снов, без видений, без крыл.

В них даже рука, что упруга, неожиданно
сжимается, чтобы разжаться опять,
слаба, чтобы взять в этой мгле бездыханной,
колеблется — стоит давать?

А ночь приговором повисла в пространстве,
немотствует дом, словно дал он обет.
Стрекочет в ночи выключатель бесстрастно,
но не зажигается свет.

ДРУГАЯ НОЧЬ

Ночь другая.
Врачующей мглою, кругла, незлобива —
взлетела короной деревьев по кругу залива,
как Вселенная, вдруг осознавшая в миг сотворения,
что не скрывается уже, не сбежать с этих пор.
Как аминь.
Как умиротворение.
Как приговор.

Во мгле целовались верхушки деревьев
с любовью по кругу.
И все примирились — друг, женщина, мать и отец
простили друг другу.

И обрубленный ствол сквозь разводы усохших колец
вдруг расцвел, увлажнился, и клейкие листья чуть
смялись.

Как бывает в легенде,
в которой счастливый конец, —
и боги смеялись.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО КОМНАТА

Из дома выходит с утра человек,
и в мире одну лишь враждебность встречает.
Дыхание черное, мертвенный бег,
бездушье природы его удручает.

Враждебны насоки поступков и слов,
а он сохранил еще в складках одежды
дыхание комнаты, мебели, снов,
покой в предвкушении смутной надежды.

На улицах шумных оставить следы —
но нет! Он проходит бесследно, как шелест.
Дома, куда входит, — невнятные, слепы,
враждебны ему, и для всех он — пришелец.

Так в мире, заполненном дымом и шумом,
день Божий с утра предается он думам.
Душа его сердится, шаг стал тяжел,
закат он встречает в тоске и тревоге.
Так дерево алчет, застыв у дороги,
дождя, чтоб омыл его листья и ствол.

Чужой этот груз, что под вечер сгибает,
у дома швырнет, как корзины с плеча.
Как стадо к кормушке с овсом припадает —
он ест, и горбушка его горяча.

Древесны, как ствол, табуретка и стол,
и так соблазняют обильные груды
еды: аппетитно жует он и хлеб, и фасоль
среди щедрых вещей и любимой посуды.

И здесь не терзает его ничего,
сидит в своей комнате, дышит надеждой.
Тут время само создавало его
привычки и каждую складку одежды.

Сидит он в привычном, своем, обжитом,
до утра расставшись с дневным одичаньем.
А ночью молчаньем наполнится дом,
как соты, что в ульях, медовым молчаньем.

ТОЛЬКО В ЭТОТ РАЗ

Давно так не было. Давно. Быть может, никогда.
Внезапно пробудилась плоть, и закипела кровь.
И вещи ожили вокруг, как легкие суда,
Что оторвались от земли и не причалят вновь.

И, как слепец прозревший, в мир уставилось окно,
Таинственный привет вдруг в воздухе повис.
И мнится мне, что мой июль уже давным-давно
Своей лобастой главой так не вздымался ввысь.

Внезапно ощутил предмет свою живую суть.
И каждый — самоуглублен и от прозренья пьян.
Так, в тайны собственной души сумевши заглянуть,
Деревья осознали вдруг секрет своих семян.

Как волей хорошо дышать! Как весело уметь
Вдох с выдохом чередовать, переходя на бег:
Рожденье — вдох, и выдох — смерть, и вновь:
рожденье — смерть.

А между ними — краткий миг, протяжный, словно век.

И путь любой лежит домой, и мать — в конце пути,
Земля, и семя, и роса, и колкое жнивье.
И чувству Родины в душе родиться и расти —
Она в тебе, она внутри, — иль вовсе нет ее.

Июль в колокол судьбы пробил двенадцать раз:
Гимн зрелости твоей поет расплавленная медь.
Ты каждой клеточкой своей запомнишь этот час,
Который долог, словно жизнь,
Неповторим — как смерть.

Белый мой город, у самой волны, —
это Он предсказал нам встречу.
Море — лишь спины и шеи видны,
словно это — верблюды дремлющие.

Был ли ты коршуном, о белый мой,
или добычей со вспоротым брюхом? —
Сегодня — прощение ты и покой,
словно стадо овец вислоухое.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

О, Ты, оградивший субботу от дел,
Сделай путь мой к Тебе короче!
Я вернулся с угодий чужих и дождей —
Как в овчарню
Овца
Темной ночью.

Снова ищут уста мои белый Твой хлеб,
Влажный ком земляной — ладони, —
И понятная,
Кровная мне и Тебе,
Ночь струится на добром лоне.

В этом лоне Твоем — мир любому жилью!
И норе, и овчарне, и дому.
Здесь прилягу и я. Дай мне ласку Твою,
словно колосу полевому.

ДРУГОЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ

МОЛИТВА

Так прости же меня, называемый Богом,
на пресветлом престоле сидящий привычно.
Разве я виноват, виноват хоть немного
в том, что речь наша немощна, косноязычна?

Сколько раз Твоих детищ мы словом пытали,
но слова наши чужды им, чужды вконец.
Так неужто пустынею мы не плутали,
а пришедший в мир первым — он нам не отец?

Ведь в ту пору косматое, ярое утро
растоптало впервые извечную ночь,
и мой пращур прадавний бездумно и мудро
смог молчанье мычанием слов превозмочь.

И скоту, и растеньям природа вещала,
с ней умели беседовать Авель и Каин.
Ну, а что же нам делать — ответь, Изначальный, —
в пустоту мы бросаем слова, точно камни.

Так прости же меня, называемый Богом,
прости за растерянность слов, за сомненья.
Нет вины моей в том. И дай сил, хоть немного,
промычать мое слово Твоим добрым твореньям.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Эта синь — вся нагая, за пологом мглы —
так желанна, что сердце сжимает тисками.
И взлохмаченный ветер акаций стволы
исступленно, как женские ноги, ласкает.

Уже ветви иссохли, иссохли листья,
пожелтели, пожухли, на землю слетели.
И, ослепнув от силы, от злой доброты,
просит зной у деревьев прохлады и тени.

Звери немы — как будто и жизни в них нет;
камень дышит — совсем как живой, как растение.
Словно только сегодня
— Да будет
свет! —
Бог изрек и исполнил свое повеленье.

И БЫЛ ВЕЧЕР

Целый день на груди исполинского мира,
как огромная штанга, лежала жара.
И земля за усилением каждым следила
и победы над зноем ждала.

Мир устало дышал, напрягая все силы.
Нет — не сможет, не вырвет, не вытянет он!
Но жара поддается. И светятся жилы.
И отброшено солнце, и пуст небосклон.

И бесстыжий закат, бескрайний и древний,
над расколотым солнцем в молчанье встает.
И Адаму под темною сенью деревьев
Ева яблоко в тысячный раз подает.

ПАСТУХ

Эта яркая высь над тобой — так близка...
Это ноздри раскрыло огромное небо...
Этот льющийся свет — он белей молока...
Запах хлева
и запах печеного хлеба...

Мимо стада овец, что сгрудились кругом
пастуха, мимо хлева, колодца и поля
в обнаженности чувств
бежит босиком
это утро, спешащее встретиться с полднем.

Первозданное утро: паруют поля,
теплый запах навоза в воздухе тает.
И от края до края — человек и земля;
только Авель и стадо — от края до края.

ЗЕМЛЕПАШЕЦ

Плуг и верблюды. Лемеха клин
взрезает пласты, рушит их единенье.
Никогда еще мир не бывал так един,
не была еще вечность так слита с мгновеньем

Это символ убийства.
Кинжалом в живот.
Рушит Каин единство движеньем руки.
Никогда еще не были так близки
человек,
верблюды,
небосвод.

КАИН, ГДЕ ТЫ?!

Покойны в полях копны сжатого хлеба.
И день — как набухшая соком лоза.
День, ставший убийцей, багровый от гнева,
качается в мертвых овечьих глазах.

И ночь настает.
И всю ночь до рассвета
скорбная пашня зовет и кричит:
"Каин, о где ты? Каин, о где ты?!"
Но Каин молчит.

ТУВАЛ-КАИН

Умелы движения умной руки.
Замысел зодчего. Точность отвеса.
Молчат жернова у иссохшей реки,
коровы режут возле голого леса.

Гибнет прекрасное. Содрана с поля
теплая шкура колосьев и трав.
Кроны деревьев трепещут от боли,
прикосновежье железа познав.

Город земле наступает на грудь —
из мертвого камня тяжелые стены.
"Покорись Тувал-Каину и позабудь
извечный язык зверья и растений!"

ДОЖДЬ В СОДОМЕ

И зодчий взглянул и измерил просторы.
Увидел: за пористой, мутной завесой
могуче раскинулся каменный город, —
и струй дождевых устремились отвесы.

То ливень бесплодный, пролитый на плиты
и гибнущий в мрачном плену водостоков.
То слезы земли, что асфальтом забита,
по нежной листве,
по брожению соков.

БЕГСТВО ИЗ ГОМОРРЫ

Поля набираются сил — созревают.
В зеленой осаде застыла Гоморра.
Улицы о подаянье взывают.
Деревья из парков бегут, как от мора.

К земле перевозданной!
К лесу!
На волю!
Туда, где младенец беседует с волком!
Там тело и солнце,
там речка и поле
зреют, растут, наливаются соком.

ЗУЛЕЙХА

Уже железо спит.
Задремлет камень скоро.
Неслышный соков ток деревья клонит в сон.
А ночь шумит, шуршит, как будто рожь, в которой
крадется человек
или пасется конь.

Тут каждый холм лежит, как зверь настороженный.
Тут каждый ком земли свиданья нежно ждет.
Земля тепла. Земля всем телом обнаженным
о семени кричит,
ее желанье жжет.

То бой семян с землей ночную тьму колышет —
конвульсии корней от страсти молчаливой.
То старый муж всю ночь храпит и душно дышит.
То льнет к Иосифу Зулейха торопливо.

НОВЫЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ

Рассыпчат и влажен песок желто-белый.
И желтый восход над лесами встает.
Хвалу человеку, хвалу его телу
стадо мычит, как молитву поет.

Покоится в сотах медовая сладость.
Как тело младенца, мир красен и нов.
И вот, сотворенная вновь первозданность
с Творцом говорит — мычаньем, без слов.

Из цикла
ДРУГОЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ

ПАСТУХ*

Этот ноздри раздувший простор-великан.
Эта высь по тебе загрузившего неба.
Этот белый огонь — белизна молока.
Запах шерсти и запахи хлеба.

И под тихие всхлипы забулькавших вод,
жажду пеньем ручья утоливших как-будто,
вместе с овцами и человеком идет
к полудню утомленное утро.

Первобытное утро!
Клубится земля,
испаря росу и запревшую заваль.
И от края до края — человек и земля.
И от края до края — стадо и Авель...

ЗЕМЛЕПАШЕЦ

За плугом — верблюд, и железный клин
терзает земли пересохшие плиты.
Никогда еще мир не был так един,
и вечность в единственном миге отлита.

* Три стихотворения — "Пастух", "Землепашец", "Зулей-ха" — из цикла "Другой первозданный", целиком переведенного Л.Цивьяном, даны также в переводе А.Пэнна.

То признак убийства. Железа тиски.
То Каин убийств сечет первобытную небыль
Никогда еще так не бывали близки
человек,
верблюды
и небо.

СЕМЯ (ЗУЛЕЙХА)

Умолкла сталь.
Затих в горячей дреме камень.
Деревья слушали ветвей журчащий сок.
И воздух зашуршал, как будто под ногами
Соломы голос, втоптаный в песок.

Здесь каждый холм
Шагам, еще не слышным, внемлет.
Здесь борозда лежит, о семени моля.
Земля распластана.
Огонь терзает землю.
Зачатья требует земля!..

Из цикла
ПЕСНИ ЗРЕЛОГО УТРА

ВОТ ТЫ ОБРУЧЕНА...*

Она лежит нагая предо мною,
туманом скрыты тучные поля.
Она лежит — невеста под фатою —
готовая к зачатию земля.

Созрели ее груди для кормленья
цветов и трав и буйно налились.
И словно бы кольцо при обрученьи,
ей дарит вечер желтый лунный диск.

Вот ты обручена со мной травкою,
сплетеньем мыслей, шелестом листвы,
вот ты умащена теперь водою,
навозом плодородным и живым,

украшена терновником и вишней
для глаз моих. И ты познаешь бремя
беременности: пахарь в поле вышел,
чтоб овладеть тобой и бросить семя.

И я твоим томлением насыщен,
и изобилие твое в себе ношу я.
Тобою освящен я и очищен.
Земля в хотенье... Аллелуйя!

* Первые слова брачной формулы, произносимой под свадебным балдахином, когда жених надевает невесте кольцо.

ТЕЛО НАШЕ ПОМНИТ...

Подобно гривам львов, раздуты ветром кроны...
А память наших тел древна, как память скал...
Ночами в дебри сна мы входим неуклонно,
как лъвята в темный лес — идем Отца искать...

Бывает, словно степь, вдруг тело расцветает,
и по нему всю ночь бредут стада зверей.
И оттого с утра оно благоухает
и горечью травы,
и свежестью дождей.

Еще оно лежит в постели онемело,
разбрасывает солнце лен кудрей во мгле,
но есть вода и хлеб для насыщенья тела —
они у ложа на столе.

Отпив глоток и теплый хлеб ломая,
мужчина с женщиной встречают утро.
В них первобытная уверенность немая,
и чуток первый шаг босой ступнею будто...

Ведь тело помнит все: зверей на мягких лапах,
речей их темный смысл, колючек ласку злую.
Еще в нем лес и степь, полынный терпкий запах.
В нем ночь еще, роса и свежесть. Аллелуйя!

ЗРЕЛОЕ УТРО

В едва проснувшемся теле ночь умирает упрямо,
еще зловеще темнеет ее затаенное жало...
Из чащи заря восходит, как овен взошел к Аврааму
и с нею вместе приходит отцовская жалость.

Она прощает грехи, и нет уже бунта следов.
Румянец зари исчез. Внизу зеленеет пажить.
Какое зрелое утро!
Покой налитых плодов.
В воздухе неподвижном медовая тяжесть.

И свежим обвалом листьев дерево ввысь разжалось —
как овна на жертвенник —
небо
оно на плечах несет.
Умиротворенность в мире. Сдержанность. Это — жалость
Одна, велика — от дна до небесных высот.

Порхнула легко, над лицом — будто бы опушилась,
порхнула легко, над лицом — и, вдаль взметнувшись
огнем,
взахлеб и по-летнему дерзко
внезапно воспламенилась
на алее заросшей, перед открытым окном.

Какое зрелое утро! Кудри ласкает рука.
Густое хлебное поле стоит тяжело и зыбко.
Пахучи детские головы, как трава, что мягка,
росинки блестят на ней материнской улыбкой.

ОСЕНЬ

Утро рождается в алом огне,
в гуще ветвей, что зрелостью пышет.
В грузе плодов — дар щедрых излишеств.
Жизнь, что во мне!
Смерть, что во мне!
В комьях земли запах жертвенных пиршеств.

Долька граната и резницкий нож.
С лежбищ барана — паленье щетины.
Свято мне, свито мне, сыто... Сквозь ночь
влага зари заливает вершины.

Влага зари? Или факел зажжен?
Пахарь вбирает рассветные краски.
Прачеловек ли застыл, окружен
сонмом богов в обличьях дикарских?

Осень, как плод, — у деревьев в горсти.
Руки кознов*, ветвась, осеняют.
Мышца Отца, помоги мне нести
мой урожай, в меня силу вселяя.

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Земля, в свое лоно приняв семена,
цветения таинством дышит.
Ночь сельских богов-песнопевцев темна —
распутна,
пьяна
и бесстыжа.

Хлебов созреванье. Тучненье овец.
Садов прогибаются кровли.
С испугом смотрю на восхода багрец,
как девы на первые крови.

Сокрыли пути прорастанья зерна
поля. Из-под поднятой брови
глядит день, стоящий в квадрате окна, —
трезв,
точен и
хладнокровен.

* Козны — потомки первосвященника Аарона (брата Моисея). На них были возложены обязанности приношения жертв, храмовой службы и т. п. И теперь в синагогах сохранились обряды, символизирующие былое положение кознов в Иерусалимском храме.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Смиранный, я очи подьему горе.
Застывшие думы травы и дерев.
Отец наш, вот я пред Тобюю...
В лесу, осиянном любовью.

Отец наш, вот я! При восходе зари
Ты мужеской силой меня одари,
вспень кровь мне и гордости брызны
Ты, жажду дарующий к жизни.

И Твой это сок —
в небо бьющий побег.
А страсти поток —
в полноводии рек.
Молчать я не мог —
Человек!
Человек, зарю эту благословивший.

ПЕСНЯ О ВОДЕ

Слышал ты, с какою жаждой
иссушенный Негев
молится комочком каждым:
дай нам воду, небо!

Воду? Воду!
Дайте воду!
Кто же год от году
утолит нас,
исцелит нас,
кто же даст нам воду?

Как ты ссохся, нету мочи,
капли ждешь, как блага.
Напоим тебя, комочек,
долгожданной влагой.

Воду! Воду!

Мы тебя вчера мечтали
напоить навеки.
Ты сегодня новой далью
нам открылся, Негев!

Воду! Воду!

Из цикла
СТИХИ О ХЛЕБЕ И ВОДЕ

1. БЛАГОДАРЕНИЕ

Дождь!
Да святится имя его!
Влажная милость неба.
Пойте хвалу плодоносности вод,
пойте хвалу хлебу.

На глыбы смотрите – просты и ясны,
прах их засеян и жарок.
Славь же, земля, колосистые сны –
ветра и ливней подарок.

Твоя радость в росе.
И гучны тяжело
твоих грудей и чрева массивы.
Хлебу насущному бейте челом,
хлебу спасибо!

2. СЫГОСТЬ

О Ты, распалюющий Землю,
чтоб с жаром
весною и осенью хлеб нам рожала.
О Ты, что колосья в муку превращаешь
и повелеваешь:
мели, пеки, сей!
Повсюду Ты – рядом, Единый, Всевышний,

и в грубом помоле и в тонкой пшеничной.
Я в каждом мгновенье Тебя ощущаю
устами своими, рукою своей.

О сытости Ты повелел. Так наполни
амбары.
О щедрости высшей напomini.
От немощи Ты нас сберег Своей мощью.
В горсти держим семя,
муку — на ладони,
и пробуем мякиш на вкус и на ошупь.

И запах муки, белизны ее тонкой,
и ломтя ржаного, и пышущей сдобы
приблизят к мечте, что маячит вдали, —
к воде и кувшину,
к росе и ягненку,
и к хлебу, что сладок для нашего нёба —
ведь он же из рук материнских —
Земли.

3. ГОСТЬ

...Замеси и сделай лепешки.

Бытие 18:6

Имя твое мне так вольно и лестно
ясное произнести:
шатер распахни, как Сарра, и тесто
— лепешек испечь — замеси.

Солнце на небе — каменя, монисто.
В ноздрях кольцо — месяц.
Пшеничной возьми. Бела и мучниста,
ночь нам лепешки замесит.

Пришедший с дороги требовать волен
что угодно его душе.
Вода для мытья. Горячий хлеб с солью.
Вода для питья — в ковше.

4. ТРОЕ

Когда, руки оmyв, кувшин мы нальем,
к горячей притронемся хале, —
пойдем и хвалу троим воспоем,
как отца родного, похвалим.

Им — от чресел моих,
им от чистого сердца
тройная хвала под небосводом:
мельнику, мелющему зерно,
пекарю, замесившему тесто,
водоносу, черпавшему воду.

ПИСЬМЕНА

Намеком о себе гроза их известила,
во множестве зажгла зигзагов письмена.
Пожар пришел, пожар, на лес нагрянув с тыла,
но никого из них не пробудил от сна.

Пожар пришел, пожар — смахнуть листву с каштана
и в травы опустить каленую пята.
Пришел, как страшный суд, — не врите, что неожиданно, —
как суд за глухоту, как суд за слепоту.

Пожар пришел, пожар, чтоб небу стать беззвездным,
по зарослям густым прошел, стволы паля...
Уж на земле хлебам не прорасть по веснам,
и, почернев с лица, кричат навзрыд поля.

Но сколь ни страшен крик насилий и увечий,
наперекор огню, мечу и топору
мы слышим шопот всех семидесяти наречий,
их человеческую мольбу: "Я не умру!"

Неужто только мы мольбой не угодили?
Неправда! Славен будь, о правый Судия!
А тех, кто скажет: "Мы Амалеку* простили",
Да вычеркнут навек из бытия!

* Амалек (или амалекитяне) — один из народов древности. После исхода евреев из Египта амалекитяне предательски напали на арьергард еврейских колонн, где находились женщины, дети, старики, больные, и перебили многих. Поэтому Библия предписывает "стереть память об Амалеке из поднебесья..." (Второзаконие 25:29).

СТАЛИНГРАД

Немая жуть листвы спаленной.
Величье пепла и преград.
Пою твой подвиг, непреклонный
самопожертвованья град.

Твои страданья восхваляю,
руин растерзанную боль.
Твою судьбу благословляет
земля, спасенная тобой.

Ведь города — не только крыши,
кварталов сумма и перил.
Они — миры, в которых слышен
неслышный шелест чуда крыл.

И страшную ценой потерь,
в сплетеньи стольких черных бед,
они теряют суть материй,
чтоб символами стать побед!

ИЗ ТЬМЫ

(поэма)

1

Заглох мой голос в темноте...
О, гордый мой народ, умеющий страдать!
Смотри: я жалок,
в этой немоте
Бессильно отступивший вспять.

Назад, к закланью, к зрелищам Содома,
И к отреченью пред звериным рыком,
И к мальчику, что заперт в темном доме,
Нем перед ужасом безликим.

Так жертвенный агнец взирал
На исполнявшего обет.
Так беспросветный мир взывал
Из пустоты: Да будет свет!

Под грузом бед призвал я свет.
Я разорвал молчанье темноты.
Я, посрамленный, отступивший вспять...
Услышь,
Услышь меня среди этой немоты,
О гордый мой народ, умеющий страдать!

2

Да будет свет! Но страшен свет.
Да будет тьма! — зову, рыдая.
И не могу уже закрыть глаза я,
Как закрывал в молитве дед.

Я отвести не в силах взгляд —
Под топором наш лес, наш сад.
И танец смерти — листья на кругу.
Нет, не могу.

Лишь ночь смежает
Веки тьмой.
Свет обнажает
Ужас мой.
Себя немymi словами жгу.
Больше я не могу,
Больше я не могу.

Света глумленье, злодейства свет!
Блеск топора и сверканье бритвы.
Вечный пожар завершает расцвет.
О, сколь обилен безжалостный свет!
Гаснут слова молитвы.

Не то. Еще не то. Слова теснятся.
 И лики гонятся. Нет мочи.
 И гордое молчанье никнет к ночи —
 Над днями сумерки глумятся.

Сдалось молчанье. Снова — к мертвецам.
 "Великий Боже!.." Тишина в ответ.
 Чей шепот там? "Иди"? Или "Дороги нет"?
 Молчанье жжет, и муке нет конца.

Я не могу молчать. И не могу кричать!
 О, погасите свет, иль зренье погасите!
 И вновь рыдаю: Тьму зажгите!
 Невó или Эйвал?* Как знать?

Эйвал, Невó — но кто рассудит?
 И как назвать это молчанье-крик?
 Так ураган немеет, замерев на миг,
 Так воеет ураган, который будет.

Един Господь, и нет другого!
 То не молитву я вознес:
 Нет, это тьма завывала снова,
 И древний злобствует хаос.

* Нево — гора, с которой Моисей перед смертью обозревал Землю обетованную. Эйвал — гора в Самарии (Шомроне), на которой преемник Моисея Иехошуа соорудил жертвенник Богу и где он на камнях начертал "список с закона Моисеева", который затем зачитал народу. В то же время в соответствии с библейской традицией Эйвал — гора проклятия, а находящаяся напротив нее Гризим — гора благословения.

Ужель на казнь идем толпой,
От старцев и до малых сих?
Ужели то Отец слепой
Готов заклать детей своих?

Ужель народ падет, как плод,
Что зрел с начала бытия?
Так встану, выступлю вперед
И закричу:
 Будь проклят, Судия!

Да, плакал праотец, готовясь со смиреньем
Твоей жестокой воле услужить.
Я ж отрекусь!
 Презрю Твои веленья
И возглашу упрямо:
 ЖИТЬ!

БАССЕЙН В МАЙДАНЕКЕ

Ты бывал ли деревом, истерзанным пилою,
животным, у которого перебит хребет?
Все еще разносятся их стоны над землею,
а почему —
на это
никто не даст ответ.

Печалюсь я и радуюсь
звезде далекой каждой,
и ветру,
и поляне,
и запахам над ней...
А ты слышал когда-нибудь, что такое жажда
не долгая —
не дольше пяти недолгих дней?

Но надо помнить меру,
решили,
и в страданиях...
Там есть такой бассейн —
ты на него взгляни
и погляди на статую,
раз посетил Майданек...
Там есть такой бассейн...
Будь прокляты они!

Тут были все продуманы
детали
образцово.
О влаге хрипло бредили обугленные рты.
"Кто хочет тут напиться?
Воды в бассейне вдоволь.
Воды в бассейне вдоволь.
Кто захотел воды?"

Шагнуть и окунуться лицом,
и на затылке
почувствовать пудовую ручищу подлеца,
пить эту воду мокрую
из мраморной поилки
до клокотанья в горле,
до смертного конца...

С А Д

Лишь виноград,
лишь вишенье в садах,
лишь на базарах груды яблок сонных —
со звездами в Господних небесах
они одни соперничать достойны.

И в том секрет обилия ночей,
обилия садов земли и неба.
Ведь страхов всех и сил любых сильнее
твой запах — он подобием теней
плывет ко мне и в небе тает слепо.

Луна столь зрелая — она полна лучей,
она на небесах висит кокардой...
Умрет пусть память о тебе, о ночь ночей,
но память о тебе во мне, как радость.

Но память о тебе стучит в груди,
кричит твоей тропинке:
"Где ты?
Где ты?"
И я тебя сподобился нести,
как талисман,
как вкус вина и лета.

Так будь со мной, и повторяй за мною:
"Благословен...", "Вот ты обручена..."
Но солнце вновь курится над землею
прадавним дымом. Даль ясна.

КАК ХОРОШО!

На поле ветер приутих,
и ливень струями не хлещет,
и вместе с явным снова веши
открыли то, что тайно в них.

Закат почти что не горит,
сиянье дразнит в отдаленье;
в единстве формы и значенья
вся жизнь передо мной стоит.

Прохладный вечер отошел,
ночь опускается без грома.
Попробуй и всему живому
скажи хоть раз: "Как хорошо!"

Пойми, в молчании глухом
сильна и слабость человечья.
Чтоб вырасти лучам навстречу,
мы забываем обо всем.

Лишь Бог и человек в ночи
никак не могут кончить спора.
Свет воссияет, утро скоро,
сейчас же ночь, и ты молчи.

МОЙ ГОРОД

Лебединая шея в изгибе застыла...
Город мой погружен в белизну и покой.
О свободе мечтают потайные силы,
как об острых зубах спелый плод налитой.

Город мой — чистота шерсти мягкой и гладкой
свежих булок пшеничная белизна.
Расправляет он улиц глубокие складки,
будто только сейчас пробудился от сна.

ВЕЧЕРНИЕ ВИДЕНИЯ

Есть в вечерних видениях какая-то гордая тайна
утомленного долгим полетом крыла.
Панорама просторов близка и необычайна,
и под солнцем, готовым сорваться, бездонная
пропасть легла.

Бесконечная проникновенность
и кротость, которая знает,
что наивное с мудрым сливается вместе порой.
Бессердечна слеза, если песня ее избегает,
непокорен твой стих, если он не блистает слезой.

Как нацеленный камень они, для которого цель
недоступна...
Опьяненное сердце, скорее врата на замок!
Спрячь меня от разбоя страстей,
необузданности поступков, —
ты, любившее бурю рассудку наперекор.

ЗНАМЕНИЕ

В сплетеньях леса — залп вражды. И говорок
чуть слышный зреющих хлебов, и шум — равнин...
С кем мальчика сравнишь, Отец? Кто в обморок
так падает от жажды и томленья
до седины?

Упряма ночь его, чистосердечна.
Скопление звезд в окно к нему течет —
рукою, расточительной и млечной,
хлестать простор, когда светать начнет.

Гнетут его намеки всех ночей,
лишь песня знак дает, как вздох, свободный,
и по краям зари той — первородной —
кровь Авеля. О, звездный взмах мечей!

ГУЛ ВЗРЫВА

Вгрызаясь в плотность взрывом и глыбами белея,
как шерсть, дыбятся тучи, и пламя рвется вслед.
"Эй, слышишь, сын Амрама!"* – овечка в страхе блеет
перед кустом терновым, в котором Бога нет.

Где ты, пастух? Где ключ, что чистой влагой налит?
Огонь давно погас, колодец наг и сух.
Зеленые глаза по-волчьи небо пялит,
и на колени встал среди овец пастух.

Пред мглой вечерней встал, застыл под лунным кругом.
И память Акейды** мелькает, горяча.
Извечно поколенья так говорят друг с другом
под сталью равнодушного меча.

Треск ледяных оглыбин, гром рухнувшего Храма...
Ошеломит тебя в тиши твоей мирской
гул взрыва... Слышишь, Господи, как мощью Авраама
земля и небо рушатся в отцовской мастерской?***

Защитник мой, Всевышний, Ты к этому стремился,
укрыв меня скалою и жизни не губя,
Ты и на сей раз к мирной жертве обратился,
ведь страх этих ударов – и он ради Тебя.

* Сын Амрама – Моисей.

** Акейда (в переносном смысле) – самопожертвование.
Здесь намек на жертвоприношение Исаака (Бытие 22).

*** Согласно Агаде, Авраам разбил всех идолов в мастерской своего отца Тераха, решительно порвав тем самым с язычеством.

МЕРТВЫЙ ВЕЧЕР

Достоверности крах... Изумленья внезапность...
Путь, предавший однажды, бесплоден как дым.
Песни, песни мои! Неужели я завтра
прокляну вас за то, что вы страха плоды?

Вы – плоды, опадавшие с дерева в бурю.
Так хотелось, чтоб радостью вы налились!
Так хотелось поверить в надежду любую!
Но – шквал,
И удар,
И падение... Вниз!

О, как буря листвою облетевшей взрывалась!
Дом распахивал настежь дверь и окно...
Боже, Боже! Прости, что к Тебе я взываю,
Хоть и долог наш счет и запутан давно.

Он запутан и долог – длинней, чем дорога
от споткнувшихся "нет"
к неуверенным "да".
Он – конец возжелавшего небо потрогать –
есть изъян или нет? – Не узнать никогда!

Пусть безжалостна бездна, но небо страшнее.
И правды измена коварнее лжи.
Это ложь!
Это ложь!
Это ложь!
И краснеет
мертвый вечер, и солнце, краснея, дрожит.

Оттого я (о, крах достоверности!) вспомню
всех, кто были у двери еще до меня,
но боялись мезузы*, испорченной, темной,
и "Вот если..." хотели заклатьем принять,

потому что утишить надеялись ветер,
шелестящий соломою в поле пустом.
О страдания мои, дайте силы проверить
ту мезузу, что вход охраняет в мой дом.

НЕТРЕЗВАЯ НОЧЬ

Как сын, что ждет отца, а тот лежит,
Напившись, в луже у порога —
Так я глядел в окно.

Над клетками домов сливались все ветра;
И, точно эхо взламывает эхо,
Входили в силу голоса беды —
От детских слез до пьяной брани Лота.

Открылась ложь в обетах лицемеров —
Дневного света, радостного смеха.
Пейзаж лежит, напившись, за окном,
И, крадучись,
Сочатся сквозь сплетенья облаков
Мерцанья наглых звезд.

Как много зла, зима, в твоем приходе!

* Дабы евреи всегда помнили учение Моисея, Библия повелевает записать слова Божьи "на косяках дома своего и ворот своих" (Второзаконие 6:9). В связи с этим с незапамятных времен существует обычай на небольших кусках пергамента писать два отрывка из Торы — "Слушай, Израиль..." (Второзаконие 6:4–9) и "Вот если послушаетесь..." (Второзаконие 11:13–21). Эти тексты вкладывают в небольшой футляр и прикрепляют его к правому дверному косяку дома. Считается, что мезуза, написанная по всем правилам, обеспечивает семейное благополучие и долголетие обитателей дома. Испорченная же мезуза может лишь повредить им.

В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Глухой переулок —
В нем тени домов, и нет людских голосов
Лишь тающий отзвук шагов
Да бормотанье деревьев.

К тебе здесь даже камни не зывают.
Не совладав с такою тишиной, —
Молчи и ты, ютись в дому,
Который притесняет всех жильцов
За мелочи их дней людских.

Из этих мелочей
Мы выстроили вечность на мгновенье,
Как строят дети
Из кубиков дворцы и города.

Из цикла

К РАЗОРВАННЫМ НЕБЕСАМ

ЧЕРСТВЫЙ ХЛЕБ

Ибо дни твои — только введенье
к дням тревожным, с мятежной судьбой.
И сегодня острее отвращенье
к сытой жизни довольных собой.

Они снова тебя захотели
опоить,
обольстить,
обмануть.
Только ты, сторонясь их веселий,
черствый хлеб предпочел вину.

И в дни празднеств, когда у кострища
они алчно делили тельца,
ты не рвал пожирнее кусище
из прожорливых рук жреца.

Не хватал у них жирных подачек
и не верил их жирным словам,
и в погоне за лживой удачей
не шагал ни по чьим головам.

Ибо к дальним разорванным высям
был навеки прикован твой взор,
и тебя поразил и возвысил
этот горький и горний простор.

И постыдной кривою тропою
ты не крался, не путал дорог.
Но идя по дороге с толпою,
ты всегда был в пути одинок.

Если вправо они поманили,
кинься влево — спасайся их лжи.
Берегись — еще бритва Далилы
под подушкой на ложе лежит.

КОГДА ВОСХОДИТ МАРС

Ты так надеялась, душа, но все напрасно —
вновь этот кубок жертвенный подъят.
Раздался клич к убийству громогласный,
и музы настороженно молчат.

Пусть Марс неумолимо наполняет
долготерпенья чашу до краев,
и пусть на всех дорогах не смолкает
воинственный, неугомонный рев.

О, превращения адара*-марта, —
от смеха семени и радости полей
до металлического смеха Марса,
чье триединство — в тайне дикарей:

копье, и волк, и древняя Лилит**.

И хищный клюв.

И клык, от крови красный.

Ты так надеялась, душа, но все напрасно —
вновь этот кубок доверху налит!

Адар — двенадцатый месяц еврейского календаря.
Женский злой дух, властвующий по ночам.

Пусть он упал в дорожный прах,
и пусть глаза раскрыть — как пытка,
но это не бессилья страх,
скорей боязнь преизбытка!

Боязнь увидеть все вокруг,
боязнь ушей — услышать слово,
страх губ — издать неверный звук,
и глаз боязнь — заплакать снова.

Страх разума пред высотой
своей: до солнца доберется!
Страх солнца пред самим собой —
ведь ночь родится в чреве солнца.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗАГАДКИ

А загадки его совершенней решений,
и в поступках своих он — предатель, невольный
и вольный.

Он бы пел, да не может слагать песнопений,
и высоко на древе качается плод недозволенный.

Он доступен желанью, недоступен для жадной руки!
И, подобно лисе в винограднике, человек
изрыгает хуленья:
— Хороши эти ягоды, только кислы и горьки! —
Так бессилие мстит за несбыточность вожделья.

Он влюбляется в жизнь, — потому, что он в сказку
влюблен,
до того, как его постигают беда и страданья, —
ибо вымыслом он силен,
и на вымысел благословлен,
им велик
и прославлен он,
но бессилен и нищ на деянья.

ПОСЛЕ ПОЕДИНКА

Вздымает ветер пыль, и воздух пахнет серой.
В стерне небесной овцы — в навозе вся их шерсть.
По улице, от гибели
серой,
серой,
серой,
останки лета катятся, гремя листвою, как жесьть.

То изверг человеческий в древнейшем встал обличье!
Все осени подобны и все-таки не схожи,
и лишь сердца людские толкуют их различно.
Есть, что явились раньше, есть, что явились позже.

Быть может, я чуть поспешил? Медлительность бесила.
И поднял шум чуть раньше? И мускулы свело...
Пал на колени Росинант... Рука моя бессильна
на круп коня другого переложить седло.

Лишь звук схлестнувшихся мечей стихает эхом диким,
песней обезглавленной, чей финал пропет.
Но поединок завершен. Как всюду, в поединках
здесь нету победителей и побежденных нет.

ЛИШЬ ТОГДА

И я сказал: нет, не сейчас.
И я сказал: когда вернется каждый
из нас на свой порог и в дом войдет,
и с непреложной логикой рассудка
опять на голос отзовется эхо —
тогда
мы этот спор продолжим.

Но дотолѣ
пускай меня не обвиняют, если
не стану отвечать я на вопросы,
и если ночь последует за ночью,
а между ними не настанет дня,
и если стих запросится на волю,
но все слова, подобно мертвым птицам,
полягут под деревьями в саду,
где ночью завязалась перестрелка.

...И я вернулся к своему порогу,
но в дом я не вошел. Слова
летали там, как хлопья черной сажи
над пепелищем.

ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ*

То последней страницы печаль наготове —
миллионы готовых к зачатию безмолвий,
и в грядущем — рождение в плоти и крови —
в слове.

Это будни, но в них возникает сиянье
красоты, небывалой досель.
То четыреста долгих недель созреванья —
что пред ними беременность в сорок недель?

То загадка души, что опасности ищет.
То поднялся доньне лежавший ничком.
То на всеми покинутом пепелище
погорелец слагает дом.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Грустно на последней строчке.
Наступает тишина.
Буква в букву, точка в точку
в книге жизнь воскрешена.

Это будни без печали,
это радость дышит вновь.
Через девять лет молчанья —
девять месяцев родов.

Это робких распрямление,
это мужество твое.
Это снова погорелец
роет землю под жильё.

Даем два разных перевода одного стихотворения.

ОТРАЖЕНИЯ

Колдовские шепоты ветра.
В небе месяца вещая поступь.
Не шелохнутся слабые тени.
Время памяти лишено.

И намек — на день или вечность? —
промелькнул и бесплотно мерцает
в дотлевающем лунном диске,
словно рыбка в банке с водой.

Опрокинутые отраженья —
словно росы на матовых травах,
словно память о днях далеких,
словно тонкая зыбь реки...

ЛИСТВА

Вот дерево растет перед моим окном.
Ты слышишь — тишину запорошили листья?
С ветвей срываясь, лист несется за листом,
как будто бы спеша свершить самоубийство.

Звезд не прибавилось над старою землей
за эту ночь. Они с листвою схожи —
то ль с причитанием, то ль с песенной хвалой
они срываются и исчезают тоже.

Извечный листопад, ты древен, как судьба,
ты слил печаль и смех в круговороте старом.
Мы видим черный дым, когда горят хлеба,
но сердце выжжено невидимым пожаром.

Т Ы

Ты — та тревожная багряная заря,
которая спугнула тучи птиц.
Ты — одиночество, что чувствуют моря,
глубин которых рыбам не постичь.

Ты — та тропа в тумане, где пешком
идуший рад, что он ступил опять.
Твой бунт подобен бунту катакомб,
когда бы их пустились выпрямлять.

Но тайна с тайною поют меж тесных створ
в ракушке неба. А когда споет
рыданий и восторгов слитный хор —
вселенной станет одиночество Твое.

МОЛИТВА О ВЫМЫСЛЕ*

Храни меня, Господь, от избытка сил,
от скрытой в отрицании гордыни,
презревшей сон, который к нам приплыл
из мира, не бывавшего доньше.

Храни от гнета знаний и ума,
их логики, перехлестнувшей меру,
которая из радости сама
младенческую вытравляет веру.

Ту веру детскую, что чудеса — закон,
что мир фантазий, выдуманный нами,
верней, умней и менее смешон,
чем истины истрепанное знамя.

МОЛИТВА О ВЫДУМКЕ

Спаси меня от лишней силы,
от мудрости надменной той,
что никогда не выносила
мечтаний, живших за чертой,

и, разъярясь, гнала химеры,
своей логичностью горда,
от простодушной нашей веры
не оставляя ни следа.

Ты нами сложенное чудо
законом жизненным оставь,
оно реальнее покуда,
чем вся доподлинная явь!

* Даем два перевода одного стихотворения.

ДРУГ ДРУГА

Поколение, умевшее речи толкать,
Не успевавшее слушать, —
Разобралось во всем,
А взлететь не сумело.
Вот оно, пред тобой,
На сей раз — в лохмотьях,
Слушающее тишину
Внимательно, как никогда прежде.

Как вдруг за ночь одну
Ворота распахнулись.

Эй ты, робко ждущий за дверью,
Жаждающий слов моих,
Как прежде ты искал
Того, кто слушать готов.
Ты знаешь, ты видишь,
Не я постучался в дверь,
Не я тебя звал —
Мы сегодня позвали друг друга.

ПЕЙЗАЖ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА

Все голоса без эха —
пейзаж без человека,
Все лица без улыбки —
пейзаж без человека,
И зеркало, в котором
никто не отразился,
И дерево без листьев,
хотя и дождь пролился.
Детей не баловали,
Пшеницу не убрали...
Гора стоит на цыпочках —
Услышать бы! —
Ни звука!
Пейзаж без человека...
О, Бог! Какая мука!

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. СВЕТ ДНЯ

А свет дневной не только ведь от солнца
он и от нас,
и от меня.
Планета выдыхает полусонно
слова, что суетно звенят.

Росой набухнув, новый месяц светит
и мочит волосы в воде.
Куда ни глянешь, женщины и дети,
как символ изобилия, — везде.

А мне казалось — я навек немею,
и так боялся я — а вдруг
простые части речи не сумеют
создать мир вымысла вокруг.

Но вот — лишь захочу — сквозь будни
льет вымысел прозрачный свет,
и вновь я говорю: "Да будет
все то, чего на свете нет!"

2. НАМЕКИ ВИСЯЩЕЙ ЛУНЫ

Взгляд поднимающейся ночи...
Взгляд дня, достигнувшего дна...
Как будто на листке росинка,
висит на небесах луна.

А ведь не падает — повисла!
Зря на нее собака лает!
Как притча с сокровенным смыслом,
как бы намек, луна пылает.

Намек на высь, что от рожденья
себя в воде увидеть жаждет,
на голос, ждущий отраженья,
чтоб пережить звучанье дважды.

Намеки раковины белой,
молящей молча о вниманье,
и тишины гнетущей бегство,
и бегство нашего молчанья.

Намеки родников бурлящих,
намек всего, что силой пышет,
намеки ночью говорящих,
но верящих, что кто-то слышит.

Намек луны, в ночи висящей,
как капелька росы блестящей.

Что ей собака с глупым лаем!
Не упадет она — повисла!
Затем луну мы воспеваем,
как притчу с сокровенным смыслом.

3. ТЫСЯЧЕЛИКИЙ ДОЖДЬ

Мы множество имен дождю давали,
и он всегда неожиданный, точно чудо,
всегда он нов, и вечно с новой песней.

И шорохи, шуршание дождинок,
как тысячи мелодий тонкой грусти.
Лишь радость на один мотив поется,
печали — друг на друга не похожи.
Печаль — дитя, вскрывающее сущность
и тайный смысл обыденных явлений.
Печаль — дикарь, надевший маску волка,
чтоб помириться с родичами волка.
И как вино таится в винограде,
она таится в каждом человеке.

Сегодня дождь на новые мотивы
поет, поет, поет твои печали...
Так молви же ему: аминь.

МОИ БЕЗРАССУДСТВА

Я помню, зеленели деревья —
Все — по своим законам, для себя,
В любви к самим себе.
И шелест их был полон сам собой.
А я воображал —
Все это для меня.

Я помню, высились дома, дома...
И улица была —
Мозаика из лоскутков.
Был свой незыблемый закон чередований,
И гнет квартплаты и привязанности к месту
А я воображал:
Ко мне,
Ко мне,
Ко мне
Красоты города наперебой зывают.

И также радости —
Они отмерены. И что там ни стрясись —
Лишь вспышка случая, что гаснет на лету.
Из глаз, что вовсе не желают плакать, —
Соленая слеза.
А я воображал,
Что барабаны бьют ради меня,
Что не воскликни я: "Да будет радость!",
Не прозвучал бы ни один напев.

И муки помню я:
В одной руке Творца небесная палитра,
Таблица умножения — в другой...
И сочетались как-то вкус и цвет,
Что в кусе хлеба,
И в куске холста,
И в безыскусственности слов ребенка.

Союз извечен между "да" и "нет".
И нет такого пиршества души,
Что не стремится к своему концу.
А я воображал — всё для меня.
Мне думалось: моя ведь это песня
И добровольно я ее пою —
Так мне казалось
В простоте душевной, —
Что мне и только мне
Овации, хвала и все на свете,
Где каждый предоставлен сам себе.

О, горе,
О, блаженство
Безрассудства!
Я вспоминаю с нежностью о вас.

СУББОТНИЕ ЗВЕЗДЫ*

Спокоен свет больших субботних звезд.
А ты печален...
Печаль твоя сегодня — святотатство,
как если бы ты погасил все свечи.

Ведь ты молчанием наполнил рот,
молчанье же — есть сущность всех речей,
как мед — есть сущность тысячи цветов
и как пейзаж — есть средоточье речки,
и чащи, и холма, раздельно сущих
и в то же время —
вместе и без ссор.

* Публикуем два перевода одного стихотворения.

Так будь един с эпохой, с поколением своим,
иди спокойно, как течет ручей,
не зная, есть ли море, но зная неизбежность берегов

На берегу — там дети месят булки
из влажного песка.

Там раковина без помехи слов
раскроет тебе на ухо все тайны
приливов и отливов.

Спокоен свет больших субботних звезд.

СУББОТНИЕ ЗВЕЗДЫ

Высок, спокоен свет субботних звезд.

А ты грустишь...

Печаль твоя — сегодня святотатство.

Как если бы ты свечи погасил,

зажженные рукою матери.

Молчания ты дал обет.

Но ведь молчание — настой из всех речей,

как мед — душа бесчисленных цветов.

И как пейзаж, где речка, лес и взгорье,

в отдельности и вместе между тем,

живут не споря.

Так будь и ты в ладу со временем своим.

Иди спокойно, как течет поток,

Вмещаясь в берега и изливаясь в море.

На берегу — там дети лепят, строят

из влажного песка.

Там раковина — ей не нужно слов —

тебе нашепчет на ухо все тайны

прибоя и отлива.

Высок, спокоен свет субботних звезд.

Из цикла
РЕБЯЧЛИВОСТЬ

ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Ах, опять ничего не выходит,
это просто ужасно, друзья:
каждый раз, когда з а в т р а приходит
так назвать его больше нельзя...

Что за бег сумасшедший, неверный?
Кто мудрец тот, что знает ответ?
Лишь с е г о д н я бывает, наверно.
Ну а завтра-то есть или нет?

И ТАК?..

Сразу видно – невезучий...
Надевает он одежду
Каждый раз наоборот.
И всегда на небе тучи,
И потеряна надежда –
Так искал исхода Лот...

Котелок во сне приснился
С чудным супом, но без ложки...
Неудачник, видно, он.
С ложкой он в кровать ложился,
Занавесил все окошки,
Но пропал и суп, и сон...

Так все ищет он ответ:
Сны бывают
или нет?

СЕКРЕТ ПОТЕРЯННОГО МЯЧА

Когда он потерял свой мяч, его спросили:
— Скажи-ка, где посеял ты свой мяч? —
И он отправился далеко в поле,
Чтобы взглянуть на поросли мяча,
И не нашел их...

Пойти бы нам,
Отправиться во все места и времена, —
Со всей серьезностью, —
А если посетит нас грусть, так пусть! —
Взглянуть, что выросло из дней,
Посеянных вчера?

В душе надежда теплится, что там —
Как знать! — мы можем вдруг еще найти
Потерянные некогда мячи —
Мячи из детства.

КАЖДЫЙ О СВОЕМ

Франциск Ассизский читал свои проповеди перед зверьми и птицами, перед деревьями и камнями.

И прибрежная рыба,
И кит на просторе —
Перед притчей святого,
Перед правдой одной.
Но внимают ему,
Как меряют море:
Каждый мерой своей,
Своей глубиной.

И стервятник над падалью,
И домашняя птаха —
Перед притчей святого,
Разгоняющей тьму.
Все внимают ему,
Но от силы и страха,
От природы своей
Не уйти никому.

Всяк от страсти своей.
От души и природы,
Всяк из глуби своей
И вослед за судьбой.

И Франциск,
Освящающий земли и воды,
Говорит о своем
И ведет за собой.

В СВОЙ ЧЕРЕД

Смотреть, как ниспадают выси
вниз, к мертвой улице, в окно
мое, сидеть, сидеть без мысли
с звездой безвестной заодно...

И холод до утра, а утром —
и свет, и шум. Всё в свой черед —
заведено законом мудрым,
к черте итоговой ведет.

И как всегда: души сиротство
(и кто спасти придет за мной?),
и тесной комнаты уродство
опять в ночи глухонемой.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Ноль времени — на полпути из "есть" в "не стало" —
Начало всех чудес.

Вот слух прозрел, а око услышало
Хоралы эха — голоса небес.

Приказ предстать. И занавес взметнулся.
Легенду жизни ветер ворошит.
К листве былых надежд он прикоснулся,
Шуршит, шуршит...

Вот некто поднимается на сцену,
Ко рту подносит выпитый бокал.
То вечность вечеру идет на смену.
Увековечен вечер.
Занавес упал.

ВВЕДЕНИЕ

(из песен Ху-а-лу)

1. КАК ВДРУГ ОСЛЕПШИЙ

Я помню хорошо смутившую меня внезапность,
Когда впервые я услышал голос мой
С магнитофонной пленки;
Мой голос это?
Это голос мой?
Ведь я всегда такой вот голос ненавидел!

Не потому ль всегда сны виденные забывает человек
В час пробуждения,
Если, скрывая недостатки, их не приукрасит,
Того не сознавая?

Разве не потому все его исповеди
(С оправданиями и грехами вместе)
Есть лжесвидетельство причастного к делам,
Невольное присочинение?

Завтра, конечно, докажут мне и это:
Что все видения и действия мои —
Они не так,
Они не то,
А лишь капризы
Изнеженного принца.

Так видит человек свой город
В сверхзвуковом полете,
Так видит космонавт планету нашу,
Которая и меньше,
И милее,
И...
Все ж не как она.

Так, просыпаясь, помнит человек видения и сны —
Две стороны какой-то небылицы.
Испуг ослепшего, когда глаза его открылись,
И видит он тела без облачений.

2. ТЫ НАЗЫВАЕШЬ ЭТО НАПЕВОМ

”Раздумья,
Раздумья и их выражения” —
Но не всегда ты говоришь словами:
Ты называешь это напевом.

”Любовь,
Любовь и исповедь сердец” —
Но больше говорит ее молчанье.
Ты называешь это напевом.

”А странствия,
Странствия и цель?” —
Но дали много ближе к вечному.
Ты называешь это напевом.

Ты говоришь напев, имея в виду все,
Что сбрасывает иго обозначений и понятий,
Бежит от призрачного света смысла обнаженного
И тех, кто мнит, что знает облаченья тайны.

Ибо напев – последнее, что сохранилось
От беседы Бога с его созданиями
До появления слов,
В котором все стенания твои и крики;
Их ты умалчивал в молениях любви.

Ведь и сегодня ты скрываешь силы
(О, месяц полный над водой!).
Порою это чайка, вечно помнящая море,
Порою это лань в возникшем силуэте –
Но всегда напев.

Напев же говорит тебе:
Ей имя Ху-а-лу.
Напев же говорит тебе:
Ты – Абри.

НЕ ХОТЕЛА ЗАБЫТЬ ПТИЦА

Не хотела забыть птица ту ветвь, на которой пела,
И хотело дерево помнить и помнить песню,
Но когда прилетело утро на крыльях несчетных птиц,
Друг друга они не увидели в неразберихе белой,
И от многокрылия птица исчезла.

Но вот устыдится день,
И они встретятся вновь,
И, быть может, на сей раз им бытие улыбнется —
И оба они прилетят на крыльях птицы одной.

ОДНА ИЗ НИХ ОЧЕНЬ СИНЯЯ

Есть тридцать шесть сокрытых птиц,
Ради которых держится небо,
И песня держится,
И певец —
Одна из них (всегда лишь одна!)
Синяя очень:
Синее небес,
Синее бездны,
Синей разноцветного платья Тамар, идущей к Амнону,
И снов о лестницах и снопах,
И стихов Ли Тай-по и Рашбага*.
До конца всех "более" в чудесах измышлений,
До конца всех "далеко" в полетах мечты —
Потому ее не схватить,
Потому ее не поймать,
Не только силком,
Но и глазом.

* Ли Тай-по — известный китайский поэт. Рашбаг — аббревиатура имени рабби Шломо бен Габироля (XI век) — одного из крупнейших еврейских поэтов и философов.

При каждом пении крыл в час благодного вечера
Ты говорил: она!
При каждом полете напева в предутренний час тишины
Ты говорил: она!
В пору, когда все ясно,
В пору, когда все кажется:
То она! —
Не она!

Тридцать шесть скрытых птиц.
Тридцать шесть напевов. Приди, Избавитель,
Их собери воедино.

А небеса высоки,
Выше самих себя,
Такими высокими не были никогда.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Жаждой лишенный чувств,
Упавший на берегу речном
В закатной полутьме от поцелуя смерти,
Обрубок
Против рогов в чашобе —
О, Ху-а-лу!

Вдруг вскакиваешь со своей постели
И среди звезд погибших набираешь
Тот номер, может быть, забытый...
(Случайно ль то, что я забыл
Все номера прожитой жизни,
Кроме одного:
Стёны-стёны-стёны
И образ матери, которая прекрасней в сех!
Какой мой номер
Сегодня
Под сенью нависающего неба,
Шуршащего здесь, в комнате ночной?)

...Нет, нет? Да, верно!
Хоть голос (странно!), что-то есть в нем
От касанья тени
Убитой птицы,
Плывущей по реке.
— Алло! Кто говорит?
— Я это... Это Абри... Это я...

К тебе кричу — ты слышишь? —
Тебе кричу я песню голосом наимолчащим.
Так не молчала никогда глубь сцены,
Покинутой последним из актеров.
Так не молчали громы бурь,
Пока не пробил час их в тучах.
Так не молчал и я
До сей минуты.
Услышь! — кричу я. —
Мне помоги бежать от самого себя,
Как скрипка убегает от стрелы и лука.
Ведь ночь сомкнула вокруг меня осаду
В звездном ливне,
Ведь вновь она смеется надо мной из мрака снов моих,
Как беспризорные мальчишки над Элишей*:

”Нево, Нево, Нево...
Не дойти до него!
Не дойти до него!
Нево, Нево, Нево!”

* Когда пророк Элиша направлялся из Иерихона в Бет-Эль, за ним увязались мальчишки, досаждая ему оскорбительными возгласами (Вторая книга Царей 2:23).

Ведь вновь из чаши ночи сон поднимается во мне,
Сон о роднике в кувшине,
Сон о рыбацкой лодке,
И в ней плывущий гребет без весел —
И вся речная мелюзга над ним смеется:
"Не делай скрипки
Из досок, оставшихся от гроба!
И локон мертвеца,
И локон мертвеца —
Смычком!"

И вновь взывает ночь (да, это я!):
"Здесь,
В тайниках души (в которых не осталось ничего,
Кроме тебя,
И только ты),
Твоя могила —
Под знаком кувшина, ручья и черепков".
О, кувшин,
О, головня,
Что уцелела от всех пожаров! —

...Это Абри, он взывает к Ху-а-лу.

Побурел песок от жара,
Точно плешь земного шара.
Рядом — море. Среди скал
Плачет по ночам шакал.

Слышит Гамлиэль во сне,
Что и звезды в вышине
Плачут, не переставая,
Как лисиц голодных стая.

Понял он: не зря такую
Все окутано тоскою,
И недаром так грустна
Эта страшная страна.

То не лисы, не шакалы
Оглашают воем скалы.
То — плачь матери-земли:
Сыновья ее — вдали.

Сыновья, что из разлуки
К ней протягивают руки.
Но меж ними, как назло,
Сине море пролегло.

А по морю нет пути.
К морю можно подойти —
Здесь кончается земля,
Как же тут без корабля?

3

Вдруг волна пришла. Оттуда
Пара рыб зовет верблюда.
"Мы несем благую весть:
Не печалься, выход есть!

Нет преград для смельчака,
Хоть пучина глубока:
Лишь не бойся, прыгай в воду —
Будешь людям пароходом!”

”Как же так?” — спросил верблюд.
”Прыгай, — рыбы речь ведут, —
Ты ж не зря такой здоровый —
Десятикилометровый!”

Прыгнул в воду Гамлиэль,
А ему и море — мель:
Не доходит до горба.
Голова — трубой-труба.

4

Кто пыхтит там и ревет?
Это паро-вербло-ход!
На горбу ликует люд:
”Что за чудо кораблюд!”

Долог путь был из-за моря,
Город Яффа будет вскоре,
Уж видна она, но вот
Вдруг верблюд замедлил ход.

Встал он в море в полный рост,
Опустил, как якорь, хвост.
Стала публика роптать:
”Что ты вздумал в море встать?”

”Не волнуйтесь, стар и млад, —
Говорит он. — Будет лад!
Всех я высадить сумею —
Протяну вот только шею”.

Он тянулся, напрягался,
Изо всех он сил старался,
Так старался — аж устал,
Но до берега достал.

Понял тут прибывший люд:
Сходни сделал им верблюду.
Вот теперь — конец пути:
Остается лишь сойти.

Вот и край земли святой.
Вдруг оттуда окрик: "Стой!"
Но верблюду взревел: "Ну нет!
Мы плевали на запрет!"

Кто там нам бубнит нахально,
Что мы едем "нелегально"?
Иль не знает он, что дурно
Выражаться нецензурно?

Даже я, когда сержусь,
Сквернословия стыжусь.
И скажу лишь то, что нужно:
Не робеть. Вперед и дружно!

Приходите, миллионы,
На Гильбоа, до Хермона!
Встретит вас, как старый друг,
Горный север, жаркий юг!

Ведь от Негева до Дана
Вы желанны, званы, жданы,
И страна вам говорит:
Приезжайте!

Путь открыт!

ЛУЖИЦА*

Нет воде конца и края —
Вон ручей бежит, играя,
Океан вдали гремит,
Дождик легкий моросит,
Озерко блестит, как блюдце —
Так и просит окунуться!
И куда ни кинешь взгляд,
Воды легкие летят,
Всюду светлые потоки
В лад лепечут, плещут в лад!
Выбирай! Но знаю я —
Лучше лужица моя,
Золотая лужица —
У нее на дне
Солнце так и кружится,
Улыбаясь мне!
В этой лужице чудесной
Можно шлепать босиком,
И месить ногами тесто,
И пирог испечь потом,
И плескаться чудным плеском,
Любоваться чудным блеском,
Хлюпать, хлопать,
Шлепать, топать,
Цок-цок-цокать,
Чмок-чмок-чмокать.
Тот, кто создал в мире лужи,
Был с детьми, наверно, дружен,
Знал, что в луже голубой
Может плавать флот любой.
Кораблей обилие —
Целая флотилия.
Катер, лодка, пароход,
Яхта, шлюпка, ботик, плот.

* Из книги "Я и Талли в стране Апочему". Публикуется с купюрами.

Эй, матросы, капитаны,
Выворачивай карманы!
Что ни есть, мы пустим в ход —
Скрепки, щепки, палки, спички,
И бутылки без затычки,
Пробки, перышки, огрызки,
Банки, склянки, зубочистки,
От зубила рукоятка,
Карандаш, блокнот, тетрадка.
Все сгодится, все пойдет,
Вышел лучший в мире флот!
Он расправил паруса,
Чудо — чудо — чудеса!
Слава лужице любой,
Славен славный рулевой!
Пароходы и пиро́ги,
Отдохните от дороги,
Мы объездили весь мир,
А теперь устроим пир.
Эй, друзья, сюда бегом —
Пир устроим с пирогом!
Есть и глина, и песок,
Испечем сейчас пирог,
Без огня и без посуды!
Наша лужа — просто чудо.
Глина мокрая и грязь
Подойдут нам в самый раз,
Ничего не приносите,
Только стойте и месите,
Не ленитесь —
 топ-топ-топ,
Подтянитесь —
 шлеп-шлеп-шлеп.
Налетай —
 для всех есть место,
Хлоп-хлоп-хлоп —
 и вышло тесто!
Господин какой-то злится:
Кто измазал ваши лица?

Эта глупая игра —
Не для нашего двора!
Дама в гневе: "Ай-ай-ай!
Это двор, а не сарай!"
Удираем от скандала,
Чтобы всем нам не попало.
Трудно взрослых убедить,
Лучше взрослых не сердить.
И молчит осиротело
Наша лужица сейчас,
Корабли стоят без дела,
Не плывут они без нас.
Все затихло, замолчало,
Все застыло до утра.
И флотилия стояла,
И пекарня не пекла.

Я И ТАЛЛИ В КВЕРХНОГАМИИ*

Мы с Талли попали в страну Кверхногамию.
Страну удивительную насквозь.
И мы вам расскажем хоть чуточку самую
о том, что нам повидать довелось.

Сначала нам встретился ве-рыба-люд,
он плыл по пустыне, он шел через пруд.
Ноги в реке,
плавники в песке,
горб верблюжий,
а хвост белужий.
Мяукал он кошки любой не хуже.
Так и не знает тамошний люд,
то ли он рыба, то ли верблюд.

* Глава из книги "Я и Талли в стране Апочему".

Мы не успевали глядеть по сторонам.
Кто не попадался навстречу нам!
Прозрачный негр, премудрый болван
и даже карликовый великан.

Коты летали
около Талли,
лаяли бабочки, рыбы болтали,
прадеды были милыми карапузами,
льва кормили поджаренными арбузами,
а пальмовый лист черешок разевал,
с небесного луга малину рвал.

Кто-то доказывал очень длинно,
что это звезды, а не малина.
Мы с Талли даже и слушать не стали.
Мы с Талли еще и не то видали.
Все ясно: мир там иначе создан,
стихи мои вовсе в том не повинны,
что в Кверхногамии малина — звезды,
а звезды, наоборот, — малина.

Акул здесь гоняют пастись на луг.
Стрелы здесь возвращаются в лук.
Медведи щебечут "чик-чирик",
а "гав-гав" — это вовсе птичий язык.
А немой жираф в высокой траве
глаголет, стоя на голове.

Ну и жираф! Едва отыщешь
такую крошечку среди трав.
Жираф там вовсе не ж и р а ф и щ е ,
он там е л е л е ж и р а ф .

Дома там стоят на земле чердаками,
сети полным-полны рыбаками,
с неба на землю леса растут,
морья-океаны в речки впадают,
а якоря за тучи кидают.

Летом здесь холод, зимою — зной,
черное светится белизной,
правое — слева, сладкое — кисло,
и перепутаны даже числа.

Мы сами сперва
не могли понять,
что пять — это два,
а два — это пять.
Десять да десять
только не двадцать —
ни счесть, ни взвесить,
ни разобраться.

Но вот как дошли мы до чтения, письма
запуталась тут и Талли сама.
Гадали мы долго, гадали мы всяко,
что значит

рогилла,
рамтвай
и осбака.

Стоит запятая — с хобот слона,
с трудом на листе уместилась она.
Восклицательный знак пишут кверху точкой
точка получается выше слов,
и чтоб эту точку поднять над строчкой,
влезать на стремянку учат ослов.
А вдоль тире, как по шоссе,
на кораблях путешествуют все.

Вот какой получается рассказ.
Вы с недоверием глядите на нас.
Мол, все это — "Любит — Оля — Женю
с мягким знаком".

Короче — враки. Не верьте вракам.
Нет, это не враки! Мы с Талли сами
видели все это

своими глазами.

Чудес на свете — не сосчитать!
Их только надо уметь увидеть.

Мы с Талли летали
в страну Кверхногамию,
о ней рассказали
лишь чуточку самую,
а все остальное расскажем потом,
подробностей хватит на целый том.
Лишь бы читали вы
и хохотали.
Будьте здоровы,
привет вам от Талли!

УЦ-ЛИ-ГУЦ-ЛИ*

- Король. Пусть будет тихо! Ни гу-гу!
Не то я думать не могу.
- Министр. Приказываю замолчать!
Король! Изволь совет держать.
- (ко всем) В хлеву корове не мычать,
В подполье мышке не пищать —
На все уста кладу печать.
- Слуга. Шуту лишь можно обличать...
- Министр. Покончили! Пора начать...
- Король (министру) Узнать желает наша милость
Что, где и почему случилось.
Затем о том затеем речь,
Что поощрить и что пресечь.
- Министр. В Хвостах — одном из дальних сел —
Двуххвостый родился осел.
Дадим ему, решайте сами,
Размахивать двумя хвостами?
- Король. А упомянутых хвостов
Обычно сколько у скотов?
- Министр. Один.
- Король. А два уже некстати?
- Министр. Двуххвостый — тот осел в квадрате.
- Король. А в этом видеть не должны
Опасности мы для страны?
- Министр. Да нет, не беспокойтесь вы!
Не две ведь это головы...
- Король. Но проследите, Бога ради,
Хвосты чтоб оставались сзади.
Что там еще?
- Министр. Луна в ущербе.
Нам меры предпринять теперь бы,
Не то мы ожидать должны
Остаться вовсе без луны.

* Отрывок из одноименной пьесы.

- Король. А что народ, взволнован очень?
- Министр. Да нет, не тем он озабочен...
Но говорят — иль это враки? —
Не лают без луны собаки.
А ведь без лающих собак
Нельзя правительству никак...
- Король. Космический корабль послать —
Ей приказать сиять на ять!
- Министр. Вчера в деревне Накося
Бычок безглавый родился.
- Король. Я полагаю, что бычок тот
Наверное немного чекнут?
- Министр. Да нет, он произносит "му",
Как и положено ему.
- Король. Без головы? Вот интересно!
Бычок мычит каким же местом?.
- Министр. Могу я объяснить, изволь,
Но здесь не место, мой король...
- Король. А королевству в этом вред?
- Министр. Да как сказать, пожалуй, нет.
- Король. Ну, если так, то продолжаем.
- Министр. В селении Нолад-рожаем
Бабенка, даром что мала,
Намедни тройню родила.
- Король. А чтут меня ее ребятки?
- Министр. Еще бы!
- Король: Значит, все в порядке.
Послать ей от меня привет
И медных несколько монет.
- Министр. Монет?! Но их в помине нет!
- Король. Тогда пошлите мой портрет
И мой автограф. Скажем, так: ...
- Министр. "Ура! Тройняшка — не пустяк".
- Король. Прекрасно!
- Второй министр. Может, так: "Нужны
Сыны для армии страны"?
- Король. Чудесно! Армия... Страна...
Но, черт возьми, пуста казна...

Слуга (*к публике*). Вот что за надпись здесь нужна:

”Изрек мудрец из дальних мест,
Что каждый сын есть Божий перст.
Подарок, мать, тебе готов —
Вот кукиш. Он из трех перстов...”

Король. А мать портрету будет рада?

Министр. Ого! Ей большего не надо...

А.ШЛИОНСКИЙ—ПЕРЕВОДЧИК

1

Очень сложно доказательно писать о переводах с русского на иврит, если читатель недостаточно, а подчас и совсем не знаком с ивритом. Какая тут возможна аргументация? Цитировать перевод? Не поймут. Цитировать обратный перевод с перевода? Это может дискредитировать работу самого талантливого переводчика. Кто поверит, что строки:

Мой дядя, будучи из числа весьма строгих людей,
когда слег в постель (идиома: серьезно захворал) ...

не только по смыслу, но и по духу и стилю соответствуют пушкинским:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог...

Предложим читателям одну нетрудную загадку: прочесть и расшифровать четырнадцать строк абракадабры:

Ко, бегамэ сусэй-хадар,
хирхер хаэлем хашовав,
бехесед Цеус рам-хатбар
йореш хонам шел кол кровав.
Меюдаэй Руслан — Людмила!
Лехитвадза на хоилу,
бли хакдамот увитул-зман,
им гиборо шел хароман:
Онегин, Йедиди миноар,
ал сфат йеор Нева нолад,
шам гам ата, коре нихбад,

улай хайита хаей зохар;
эй-аз шам гарті гам ані:
ах ой ли меаклим цфони...

При дешифровке неизвестных писем или неведомого языка ученые прежде всего ищут отдельные понятные им знаки или слова. Пусть этих слов немного, но только опираясь на них, можно найти ключ к чужой письменности и чужому языку. Попробуем и мы действовать подобным же образом — и сразу обнаружим четыре знакомых слова: "Руслан", "Людмила", "Онегин", "Нева".

Но может быть, при внимательном чтении можно найти и другие знакомые слова? Да, можно. Из диковинного слова "хароман" легко, отбросив артикль, получить слово "роман". Наконец, зная немецкий, французский или английский, нетрудно догадаться, что "Цеус" — это Зевс, или пушкинский Зевес.

Чрезвычайно облегчили нашу задачу ритм, система рифмовки, музыка стиха. Читатели уже, верно, догадались, что мы воспроизвели на иврите вторую строфу "Евгения Онегина":

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всеvyšней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомиться вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

Именно наличие каких-то опорных точек, в виде известных слов, предопределило наш выбор. С равным

успехом можно было бы взять любую другую онегинскую строфу.

Даже чисто формальный анализ показывает, что перевод тщательно воспроизводит, так сказать, внешнюю оболочку стиха: его размер и ритм, систему рифмовки. Поэтому мы расставили ударения, да и то не все, лишь в первом четверостишии; далее читатель не собьется — сам стих поведет его за собой. Упругая, строго выверенная ямбическая стопа безошибочно подскажет *интонацию*, усиленную своеобразным сочетанием женских и мужских рифм, чередованием перекрестной, смежной и кольцевой рифмовки. Интонацию подскажут и основные знаки препинания: точка в конце четвертой строки и точка с запятой — в конце двенадцатой, восклицательный знак в конце пятой строки; двоеточие — в конце восьмой и тринадцатой строк...

Бессмысленно было бы требовать от перевода сохранения рифм оригинала. Но переводчик А. Шлионский очень чуток к звуковой выразительности рифмы, и если ему не удалось в пятой и шестой строках сохранить рифму "Руслана — романа", он в седьмой и восьмой строках воспроизводит очень схожую рифму — "зман — роман".

Теперь попробуем разобраться в лексике этой строфы, чтобы понять, какими средствами переводчик воспроизводит дух, стиль, характер подлинника. Не будем заниматься "переводом наизнанку" — переводом с перевода, ибо это дело безнадежное и заведет нас в тупик. Рассмотрим лишь отдельные слова, выражения, строки, чтобы проиллюстрировать *подход* переводчика к своей задаче.

Так думал молодой *повеса*...*

* Здесь и далее во всех пушкинских цитатах ; курсив А. Б., за исключением тех случаев, где это специально оговорено.

Чтобы как можно полнее передать смысл этого слова, А.Шлионский отказался от его словарных значений (бездельник, распущенный, беспутный, упрямец, нарушитель приличий и т. д.). Ведь в некоторых своих стихах Пушкин часто самого себя называет – с оттенком добродушного укора – ”повесой”. Этот *оттенок* переводчик и стремится воспроизвести. Найдя оригинальное решение, он переводит словосочетание ”молодой повеса” словом ”шовав”, которое означает и ”юноша” и ”проказник” одновременно.

Онегин не ехал, даже не мчался, а *летел* на почтовых. И вот этот ”полет” переводчик отлично передает, перефразируя стих из книги Иова о боевом коне, который ”с шумом и порывом *глотает* землю”. Когда ”почтовые лошади” (переводим буквально), везущие Онегина, ”глотают” пространство, мы явственно ощущаем очень быструю езду, тот ”полет”, о котором писал Пушкин.

Но это еще не все: первая и вторая строки в переводе поменялись местами. Претерпел изменение и третий стих. Вместо ”Всевышней волею Зевеса” в переводе получилось примерно так: ”по милости Зевеса высокочтимого”. Другая лексика, другая грамматическая форма, но смысл тот же. Четвертый стих – ”Наследник всех своих родных” – остался без изменений, только после слова ”наследник” встало отсутствующее в оригинале слово ”имущества” (”богатства”, ”добра”, ”капитала”). И эта вставка ничего не меняет ни по существу, ни в образном строе стиха.

В переводе первого четверостишия не удалось сохранить ”*летя в пыли...*”. Переводчику пришлось пожертвовать этой деталью, так как русское ”на почтовых” на иврите может быть передано лишь тремя словами – ”на почтовых лошадях”. Частично эта потеря компенсируется ярким образом ”глотания” пространства при быстрой езде. И еще ассонансом ”э, эй”, в котором явственно слышатся возгласы ямщика, погоняющего лошадей.

Пушкин обращается в пятой строке к "друзьям Людмилы и Руслана". Шлионский употребил слово более интимное: "меюдаэй" — "закадычные друзья" ("добрые друзья", "душевные друзья").

В следующих строках отступления от подлинника очень незначительны. Предложение автора познакомить читателя с героем романа выражено в более категоричной форме ("извольте-ка познакомиться без предисловий и траты времени"). Онегин — "добрый мой приятель" — стал "другом моей юности". По смыслу это одно и то же. Вместо "блистали, мой читатель" в переводе — "прожил блестящую жизнь, мой уважаемый читатель"; вместо "но вреден север для меня" — "но беда мне (или "плохо мне", "горе мне") от северного климата".

Все эти отступления от "буквы" пушкинского стиха совершенно неизбежны при облачении его в другие национальные одежды (удивительно другое — как А.Шлионскому удалось некоторые строки передать чуть ли не буквально, не насилуя при этом синтаксиса, не прибегая к ненужным инверсиям, не нарушая логических и ритмических ударений строфы). Но нигде переводчик не отступает от духа пушкинской поэзии. Стих А.Шлионского льется легко, непринужденно, естественно. "Лишние" слова, на которые мы обратили внимание ("наследник *имущества*", "*уважаемый* читатель", "*северный климат*"), вызваны тем, что, как правило, слова иврита короче соответствующих русских слов. И грамматические особенности иврита часто позволяют употреблять вместо вспомогательных глаголов и местоимений короткие приставки и окончания, заменяя несколько русских слов (а иногда и целую фразу) одним (скажем, "аламедха" — "я буду учить тебя"). Эту разницу переводчик умело компенсирует, вводя *нейтральные* или *служебные* слова, которые не мешают воспринимать пушкинские образы, пушкинские мысли. Внимательно просмотрев всего "Евгения Онегина", мы обнаружили, что эти слова-"заполнители", хоть их

не мало, как бы растворены в пушкинском тексте, и мы их попросту не замечаем.

Общеизвестно, как неисчерпаемо разнообразна "онегинская строфа". Она послушно вмещает в себя все, что требует авторский замысел: непринужденный рассказ и лирические отступления, яркий диалог и бытовые зарисовки, незабываемые "живые картины" и каскады "острых слов". Иногда стих течет спокойно и плавно, иногда резко ускоряет свой бег. Все это чутко улавливает переводчик. Читатель уже познакомился с образцом повествовательного стиха. Теперь, без комментариев, продемонстрируем, как звучит на иврите пушкинский диалог:

"Куда? Уж эти мне поэты!"

– Прощай, Онегин, мне пора.

"Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?"

– У Лариных. – "Вот это

чудно.

Помилуй! и тебе не трудно

Там каждый вечер убивать?"

– Нимало. – "Не могу

понять..." (3,1)*

"Леан? Хапайтаним хаэле!"

– Онегин, слах, эйн пнай

ахшав.

"Лех-лех! Авал эй теватэла
кол эрев эт зманха лашав?"

– Бевейт халариным. – "Томеа
ани эйха ло титъягеа

шам эрев-эрев левалот?"

– Холила ли! – "Музар

меод!.."

* Первая цифра здесь и в последующих примерах обозначает главу, вторая – строфу.

На восьми строках дано семь реплик — развернутых и очень кратких, иронических и деловито-серьезных. И в переводе на том же пространстве и в той же последовательности расположены те же семь реплик, интонационно близких к пушкинским. И в переводе диалог получился таким же естественным и непринужденным, как в оригинале.

Многие строки "Евгения Онегина" давно приобрели характер афоризмов, стали крылатыми словами ("как денди лондонский одет", "мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь", "наука страсти нежной"). Таких примеров — сотни. И пушкинские крылатые слова Шлионский переводит так, чтобы они и на иврите звучали афористически и обрели силу крылатых слов. Буквальным переводом этого никогда не достичь, да такой и невозможен. Создать крылатое слово на другом языке можно, лишь найдя точный поэтический и смысловый эквивалент русского выражения. Шлионский упорно ищет его — и находит. Рассмотрим, как это достигается в названных выше трех случаях.

"Как денди лондонский одет", то есть "расфранчен", "разодет", и только. Перевести "точно" в данном случае не представляло особого труда, легко нашлась бы и соответствующая рифма. Но... фраза стала бы заурядной, обыденной, потеряла бы тот иронический оттенок, который сделал ее на русском языке крылатой. И Шлионский слово "одет" смело заменяет словом, казалось бы, очень далеким по смыслу, — "совершенен" (в смысле "безукоризненен", "комильфо") — и создает на иврите великолепное крылатое слово, полностью соответствующее пушкинскому ("кеденди лондони мушлам").

Еще труднее пришлось переводчику, когда он решил сделать крылатыми строки:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь...

На первый взгляд это очень простая фраза. Почему же она звучит так неотразимо, с удивительной меткостью передавая эфемерный характер онегинского учения? Видимо, здесь действуют "чему-нибудь" и "как-нибудь", да еще в сочетании с "понемногу". И в данном случае возможен прямой, "честный" перевод, но он не обогатил бы иврит новым крылатым словом. И Шлионский эти строки переводит так:

Кулану эйх-шеху малену
микол тора меат мизэр.

В дословном переводе это значит: "Мы все кое-как (как-нибудь, так или иначе) пополняли себя (имеется в виду — свои знания) из разных учений (наук, Библий) кое-чем (кое-какой мелочишкой)".

По-русски это звучит ужасно, а на иврите — превосходно и, главное, именно в том смысле и с теми нюансами, которые вложил в свои строки Пушкин. Не случайно, разумеется, из восьми синонимов слова "учение" Шлионский выбрал именно тот, который одновременно обозначает и "Библию", "Пятикнижие" ("Тора"), тем самым подчеркнув откровенно иронический характер фразы.

То же слово "Тора" (учение, наука, Библия) Шлионский употребил, переводя сочетание: "наука страсти нежной" ("торат эдна нис'эрэт"). Здесь иронический смысл понятия подчеркнут особенно сильно явным несоответствием возвышенного слова ("Библия", "Священная книга", "Книга книг") сущности той "науки", которая так занимала Евгения.

Нельзя было переводить буквально и слово "страсть", так как на иврите оно имеет лишь одно — откровенно чувственное — значение. Переводчик заменил его словом "нега", усилив определением "бурной" ("волнующей").

С большим художественным тактом А. Шлионский психологически сблизил героев бессмертного романа с израильским читателем. Онегин, Татьяна, Ленский,

Ольга, оставаясь до мозга костей русскими, благодаря некоторым особенностям перевода стали близки людям совсем иной культуры, иных представлений, иного жизненного опыта.

Как это достигнуто? Очень умелым, неназойливым вплетением в ткань романа традиционных для читателя перевода (в силу своего национального колорита) образов, оборотов речи, ходячих выражений. Тут требуется безупречный вкус и большое чувство меры, ибо чуть-чуть "переборщишь" — и облик пушкинских героев будет искажен, в их характере, речи, чертах лица появится что-то чужое.

А.Шлионский счастливо избежал этой опасности. Он не переступил той грани, за которой начинается художественная фальшь, не пересадил пушкинских героев на другую национальную почву, не обратил их в чужую веру, не облачил в чужие одеяния. Но он понял, что говорить с читателем задушевно и впечатляюще, так, как говорит со своим читателем Пушкин, невозможно без помощи своих, ярко национальных образов и выражений. Более того — сплошь да рядом чисто русский колорит может быть наилучшим образом передан иноязычному читателю лишь через привычный для него национальный колорит. Это кажется парадоксальным, но это именно так. Вот несколько примеров.

Помните надгробную надпись на могиле Ларина? Она гласит (2, XXXVI) :

*Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир*

(Курсив Пушкина — А. Б.)

Пушкин воспроизвел в этой надписи — с совершенно очевидным ироническим оттенком — типичную эпитафию своего времени, он вовсе не имел в виду поразить или удивить читателя. Но в обычном еврейском надгробии немыслимо слово "грешник". Напротив, как правило, здесь встретишь слова "праведник", "благо-

честивый”, ”богобоязненный” (”цадик”, ”хасид”, ”йере-шамаим”) и т. д. и аббревиатуру слов: ”Да будет душа его /ее/ неразрывно связана с душами живущих” (”танцба”). И прав был А. Шлионский, когда опустил в своем переводе слово ”грешник”, а сугубо русское архаичное ”под камнем сим вкушает мир” заменил приведенным выше выражением.

Совсем иной характер носит эпитафия на могиле Ленского (7, VI):

”Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет,
Покойся, юноша-поэт!”

Ее очень точно воспроизводит переводчик, добавляя, однако, после имени и фамилии слово ”зал”. Это тоже аббревиатура слов ”память его благословенна” (”зихроно ливраха”). Здесь, согласно еврейской традиции, она совершенно необходима.

В той же главе упоминается ”покойный Ленский, наш сосед”. И опять рядом с его именем в переводе появляется слово ”зал”, ибо, упоминая о покойниках, по еврейскому обычаю нельзя не сказать: ”память его благословенна” (или: ”да сотрется его имя и память о нем”, — если речь идет о большом грешнике или отъявленном негодяе).

Когда Ларина едет в Москву, ”три кибитки везут домашние пожитки...” (7, XXXI). Далее идет перечисление их:

Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.

Переводчик добросовестно все перечисляет (ведь каждая из этих вещей отлично характеризует уклад жизни Лариных), но тут же добавляет: ”чтоб не сгла-

зить”. Отсебятина? Нет! Тонкое понимание национальной психологии. Перечисляя так много ”добра”, рядовой читатель Шлионского обязательно по привычке добавит ”чтоб не сглазить”. Так поступил и переводчик. Это добавление звучит настолько естественно, что на нем совершенно не задерживается внимание. А вот отсутствие его ощущалось бы читателем.

Татьяна, отправив письмо Евгению, ждет решительного объяснения с ним. Но когда он приехал, — ”легче тени Татьяна прыг в другие сени...” (3, XXXVIII). В переводе ”легче тени” заменено выражением ”как стрела из лука”. Когда Татьяна встречается в саду Онегина, ”...как огнем обожжена, остановилась она” (3, XLI). В переводе она застыла на месте, ”как ужаленная змеей”. ”Как стрела из лука” и ”как ужаленная змеей” — с детства привычные для читателей Шлионского образы, бытующие в живой речи.

Лариных в Москве встретили очень приветливо:

Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль (7, XLIV)

Хлеб-соль — символ русского гостеприимства. Те же чувства переводчик отлично передает традиционным еврейским приветствием: ”Благословен пришелец!” (”Барух хаба!”).

Секундант Ленского Зарецкий, тот самый, что жил ”в пяти верстах от Красногорья” (6, IV) и ”в туз из пистолета в пяти сажнях попадал” (6, V), однажды, ”как зюзя пьяный”, свалился с коня. В переводе Шлионского Зарецкий живет ”в пяти парса” от деревни (парса — старинная мера длины, отошедшая в прошлое, как и русские версты), попадает в туз не в ”пяти сажнях”, а в ”пятнадцать локтях” (на Востоке ”локоть” в течение столетий служил универсальной мерой длины), и был он пьян не ”как зюзя”, а ”как Лот” — тот знаменитый библейский Лот, племянник праотца Авраама, который однажды упился до бесчувствия, и с тех пор его имя стало синонимом пьянства.

Нужно ли подробно объяснять, почему "ведьма с козьей бородой" (5, XVI) из сна Татьяны превратилась в переводе в "Лилит с длинной козьей бородой"? Ведь Лилит в легендах народов Востока играет ту же роль, что ведьма в русских сказках. А небезызвестный "...Мартын Задека, // Глава халдейских мудрецов, // Гадатель, толкователь снов" (5, XXII) – получил еще одно прозвище: "Цофнат-Панеах". Этим именем фараон нарек Иосифа Прекрасного, когда тот разгадал его сон, и означает оно "открыватель тайного"; имя это стало нарицательным для всех гадалей и толкователей снов.

Муж Пелагеи Николавны "ест и пьет за двух" (7, XLV). В переводе А.Шлионского он "жрет, как буйвол" – легендарный буйвол, мясом которого будут питаться праведники "на том свете": в израильском фольклоре этот образ широко бытует.

У Пушкина Таню обнимают, любят ее "младые грации Москвы" (7, XLVI), у Шлионского – "московские миловидные лани". И, право, не беда, что в Москве и Подмосковье лани не водятся. В восточном фольклоре лань и серна – традиционные образы, символизирующие девичью молодость и красоту.

Традиционную образность наших древних книг – "Псалмов", "Песни песней", "Экклесиаста", "Притч Соломоновых" – переводчик виртуозно использует для воссоздания образов, мыслей, настроений, весьма далеких от Библии. Перефразируя широко известные изречения, он достигает поразительного эффекта. В "Притчах" есть стих: "Не похваляйся днем завтрашним – ты ведь не знаешь, что родит день". В "Книге Иова" говорится о Боге: "Когда Он сокроет лицо Свое, кто может Его узреть?" И вот, когда переводчику надо было передать настроение, которое Ленский выразил в своих предсмертных стихах, в знаменитой строке "Что день грядущий мне готовит?" – Шлионский призвал на помощь "Притчи" и "Иова". Из приведенных выше двух отрывков он сконструировал стих: "Что родит день, которого не могу узреть?" ("Ma йслед йом ло

ашурену?”). Этот стих на иврите удивительно созвучен по настроению и мысли пушкинскому стиху и вызывает в душе целую гамму образов, хорошо знакомых с детства. Не удивительно, что Ленский, ничего не теряя в своей национальной характерности, близок и дорог читателям А.Шлионского.

И так — каждый из персонажей “Евгения Онегина”. Когда мятушаяся Татьяна говорит няне: “Поговорим о старине” (3, XVII), — в переводе на иврит это звучит: “О старине усладимся беседою” — и ассоциируется со стихом из “Псалмов” о сокровенном друге, “с которым мы услаждались беседою”. Та вычурность, которая ощущается в русском дословном переложении, совершенно отсутствует на языке перевода. И опять Татьяна, оставаясь пушкинской Татьяной, сближается с иноязычным читателем.

Естественно, что для передачи русских идиоматических выражений А.Шлионский пользуется идиомами родного языка. Когда Ленский при встрече с Ольгой — после злосчастных именин — “повесил нос” (6, XIV), у Шлионского читаем: “ослабел его разум”. И то и другое соответствует понятию “очень огорчился”, “пал духом”.

Всеми средствами художественной выразительности приблизив гениальное пушкинское творение к своим читателям, акклиматизировав его, если можно так выразиться, на израильской почве, А.Шлионский оставляет непереверденными отдельные слова, усиливающие русский национальный колорит “Евгения Онегина”. “Няня”, “барин”, “лампада” и ряд других слов на фоне используемых им “библейзмов” звучат особенно выразительно. Интересно отметить, что эти же слова в некоторых случаях переведены: все зависит от контекста и от интонации, которая нужна А.Шлионскому в каждом отдельном случае.

В то же время он смело создает новые слова и выражения, отсутствующие на иврите: рогоносец, раёк, дровни, кибитка, телогрейка, масленица, ключница, застава, ехать на долгих, играть в дурачка и другие, — созда-

ет на базе хорошо известных ивритских слов, переосмысливая их значение. Так, например, слово "раёк" он чрезвычайно удачно передает словом "звул", которым в старинных легендах обозначали... четвертое небо. Но в контексте ("Театр уж полон; ложи блещут; // Партер и кресла – все кипит; // В райке нетерпеливо плещут, // И, взвившись, занавес шумит" – 1, XX) читателю перевода ясно, что речь идет не о "четвертом небе", а о верхнем ярусе, о галерке. Так старое слово было приспособлено для выражения нового понятия.

Весьма разнообразны средства, которые использует А. Шлионский для передачи просторечия. Няня в разговоре с Татьяной обращается к ней: "дитя мое" (3, XIX), "душа моя" (3, XXXV). У Шлионского в уста няни вложены соответствующие слова: "свет души моей" и "зрачок глаза моего". Для русского уха это звучит цветисто, выпренне, но на иврите подобные, чисто фольклорные образы очень хорошо передают стиль речи простой старой женщины из народа.

К фольклору переводчик обращается и тогда, когда ему надо передать "Песню девушек". Ничего нет легче, как перевести буквально "Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки", – для этих слов на иврите есть большой выбор синонимов. Но дословный перевод звучал бы тускло, пресно, невыразительно и не передавал бы народной песенной интонации. А Шлионский смело вводит в стих фольклорный образ миловидной газели – и нужный эффект достигнут.

А вот в сцене святочных гаданий, когда девушки поют старинную песню ("зовет кот кошку в печурку спать"), переводчик употребил для передачи слова "кошка" (5, VIII) не ивритское "хатула", а арамейское "шунра", подчеркивая тем самым, что речь идет не о кошке и не о кошечке, а о "кошурке": арамеизмы в иврите создают ощущение старины и просторечия. И когда Евгений представляет Зарецкому своего секунданта – слугу-француза Гильо, назвав его "честным малым" (6, XXVII), переводчик снова прибегает к арамейскому слову: "барнаш". Буквально это значит

”сын человеческий”, но употребляется только с пренебрежительным оттенком, а в контексте как нельзя лучше соответствует образу слуги, по прихоти барина вынужденного играть роль секунданта.

”Уж никуда не годна я...” (7, XLII) — жалуется Лариной на свои недуги ее московская кухня, четвертый год болеющая чахоткой. Это выражение А.Шлионский передает идиомой: ”Я стала разбитым сосудом”, — и мы с особой силой чувствуем, что хотела сказать больная, прикованная к постели женщина.

Интересно проследить на двух-трех примерах, как А.Шлионский переводит слова и выражения, имеющие иронический оттенок. Помните ”уездной барышни альбом” с его двумя сердцами, факелом и цветками? ”Какой-нибудь *пиит* армейский тут подмахнул стишок злодейский” (4, XXIX). В переводе сей ”пиит армейский” стал ”рифмоплетом из офицеришек”. Описывая театр своего времени, Пушкин, наряду с Фонвизинным, ”сатиры смелым властелином”, вспоминает и ”*переимчивого* Княжнина” (1, XVIII). Переводчик метко окрестил этого известного драматурга екатерининской эпохи, перекраивавшего на русский лад трагедии Корнеля и Расина, ”главою подражателей”*, вскрыв этим суть его ”переимчивости”.

Заканчивая первую главу ”Евгения Онегина”, Пушкин саркастически замечает: ”И журналистам на съеденье // Плоды трудов моих отдам” (1, LX). Поэт хорошо знал подлые нравы тех, на кого намекал. ”Русская словесность, — писал он в одном из своих писем, — головою выдана Булгарину и Гречу!”** И разве не прав был переводчик, когда слово ”журналистам”

* Кроме того, в специальном примечании А.Шлионский коротко охарактеризовал творчество Я.Б.Княжнина, удачно используя кличку ”рифмокрад”, данную ему И.А.Крыловым.

** А.С.Пушкин. *Полное собрание сочинений в десяти томах*, т. X. М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 324.

заменял перифразом "скворцам пера", равнозначным нашему выражению – мошенникам пера, шелкоперам?

Но вот лицо поэта озаряет улыбка, он непринужденно шутит:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы *розы*;
На, вот возьми ее скорей!) (4, XLII).

И та же легкая усмешка чувствуется в переводе. Привычной, набившей оскомину рифме "морозы – розы" вполне соответствует на иврите "кэрах – перах" ("лед – цветок", и по смыслу близкое к "морозу" и "розам"). А пушкинскую интонацию двустипшия, заключенного в скобки, хорошо передает на иврите такая фраза (даем дословный перевод): "Здесь принято рифмовать слово "цветок", вот я и срифмовал так, господа!"

С величайшей тщательностью, которую можно было бы назвать педантизмом, если бы речь шла не о Пушкине, воспроизводит переводчик все повторы оригинала. Повторы эти у Пушкина очень разнообразны и по форме и по их функции в стихе. Наряду с повторами типа "Придет, придет и наше время..." (2, XXXVIII), "Куда, куда вы удалились" (6, XXI) встречаются повторы типа "Татьяна, милая Татьяна!" (3, XV), "Кто прежней Тани, бедной Тани" (8, XLI) или типа анафор: "По крайней мере, сожаленьем, // По крайней мере, звук речей..." (3, XXIII), "Благословен и день забот, // Благословен и тьмы приход!" (6, XXI), "Порой расчетливо смолчать, // Порой расчетливо повздорить" (6, VI). Все эти особенности оригинала отражены в переводе. И это – не слепое копирование высокого образца, а похвальное стремление с наибольшей полнотой выявить все нюансы пушкинской строфы. По той же причине в переводе заботливо переданы, к примеру, все пушкинские бессоюзия и многосоюзия, которые разбросаны по всему "Евгению Онегину".

К каким бы сторонам поэтической лексики "Евгения Онегина" мы ни обратились, всюду обнаружим в переводе удивительную верность оригиналу. Оказывается, все поддается художественному воспроизведению на другом языке — и неповторимые пушкинские тропы, его несравненные эпитеты и метафоры, характерные для него фигуры поэтической речи. Подчеркиваем: художественному воспроизведению и воссозданию, а не копированию. И если пушкинскую метонимию "его перо любовью дышит" (4, XXXI) А. Шлионский передаст другой метонимией — "его перо высекает огонь любви"; и если пушкинское сравнение "а милый пол, как пух, легок" (4, XXI) переосмысливается — "прекрасный пол легок, как ветер"; и если эпитет "узы брака" ("Но Ленский, не имев, конечно, // Охоты узы брака несть..." — 2, XIII) в переводе превратился в меткую древнееврейскую метафору "жернов на шею" (буквально: "но Ленский был не из тех, кто наденет себе жернов на шею"); и если пушкинские антонимы, характеризующие Онегина и Ленского, — "Волна и камень, // Стихи и проза, лед и пламень" (2, XIII) — на иврите в буквальном переводе звучат как "скала и ручей, стихи и проза, огонь и снег", — то причины этого столь же очевидны и ясны, как очевидны и ясны причины, побудившие переводчика "волшебницу зиму" (7, XXIX) и "матушку-зиму" (7, XXX) превратить в "волшебника-зиму" и "батюшку-зиму": законы языка и законы поэзии.

Несколько слов о рифме. Мы уже отмечали, что все характерные для "онегинской строфы" особенности рифмовки переданы в переводе. Речь шла о чередовании женских и мужских рифм, о сочетании смежной, перекрестной и кольцевой рифмовки. К этому следует добавить, что переводчик неизменно заботился о воспроизведении точных, глубоких и усиленных рифм там, где они есть в оригинале. Заботился он и о свежести и новизне рифмовки путем сочетания различных частей речи, если это соответствует подлиннику. В некоторых случаях ему удавались рифмы, даже фонети-

чески близкие к пушкинским. Вот характерные примеры.

"Татьяна, милая Татьяна!" – восклицает автор (3, XV), сокрушаясь, что его любимая героиня отдала свою судьбу в руки "модного тирана". "Татьяна, бр хайй Татьяна!" ("Татьяна, свет моей жизни, Татьяна!") – звучит соответствующий стих у Шлионского, и рифмуется он со словом "нитáна" (отдана). И почти всюду, где в подлиннике "Татьяна" рифмуется, А. Шлионский находит соответствующую рифму в своем родном языке: "*Татьяной – румяной*" – "Татьяна – хонáна"; "*рано – Татьяна*" – "тыфцана – Татьяна"; "*не знал я ране – Татьяне*" – "ли ана – Татьяна"; "*Татьяна – сана*" – "Татьяна – кулана" и т. д. В иных случаях он рифмует имя героини там, где у Пушкина есть близкая по звучанию рифма.

Вот Татьяна, приехав в Москву, беседует со своими сверстницами:

Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне (7, XLVII).

В переводе эти строки звучат так:

Веахар-ках банóт тытбáна
гилу́й-халéв гам митáтьяна
кетагмулей сихá тамá.

(Дословный перевод: "Потом девушки требуют сердечного признания и от Татьяны, в качестве награды за невинный разговор").

Стремление подкрепить музыку пушкинского стиха рифмой, близкой по звучанию к пушкинской, явственно ощущается во многих строфах. Переводчик воспроизводит рифмы, образуемые именами собственными, варваризмами, интернациональными словами. Воспроизводит он иногда (и довольно искусно) и другие рифмы, близкие к пушкинским.

Сопоставим, например, строки:

И мыслит: "Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало..." (6, XLII)

Тахшóв: "Веольга мé хайя ла?
хайт раба нафша савала..."*

Пушкинской рифме "et cetera — добра" (7, XXXI) соответствует в переводе рифма "et cetera — аин ра́"; рифме "рассказа — Кавказа" (8, IV) — "Кавказ — та-сааз"; рифме "пробежал — генерал" (8, XIV) — "ка-хал — генерал"; рифме "Невы — вы" (8, XVI) — "Нева — зива́" и т. д.

В II строфе седьмой главы рифмуются "Москве — синеве" и "луна — одна". Шлионский соответственно рифмует "бемосква — ход-зива́" и "калванá — бнот-мина́". (Заметим в скобках, что и смысловое значение этих слов близко к пушкинскому.)

Бесспорно, что фонетическая близость, а иногда даже тождественность рифм тоже "работает" в переводе, накладывая определенную окраску на звучание стиха.

Завершая свой труд над "Евгением Онегиным", Пушкин дружески обращается к читателю:

... Поздравим
Друг друга с берегом. Ура! (8, XLVIII)

В ивритском переводе это поздравление и русское "Ура!" заменено другим поздравлением с очень емким словом "шехигиану". В буквальном переводе оно означает "за то, что Господь позволил нам достичь". Оно взято из молитвы, ставшей народным изречением, которое произносится в праздники и в торжественных случаях.

Мы думаем, что все читатели "Евгения Онегина" вслед за А. Шлионским с чувством огромного удовлет-

* И думает: "А Ольга, что случилось с ней? Долго ли душа ее страдала...".

ворения произнесли это многозначительное слово. Читать на своем языке "Евгения Онегина" в первоклассном переводе — такое волнующее событие, которое оставляет неизгладимый след в сердце каждого.

Вот что писал о переводах А. Шлионского известный русский детский поэт, литературовед и теоретик художественного перевода Корней Чуковский, не знавший иврита:

"Недавно мы упивались чтением "Евгения Онегина" в переводе Авраама Шлионского. Музыка, шампанское, радость!.. Только теперь, когда один молодой советский гебраист, посетивший меня по просьбе сына Переца Маркиша*, прочитал мне вслух и куски "Бориса Годунова", и всю первую песнь "Онегина", и куски "Пира во время чумы", я почувствовал все величие подвига, совершенного Авраамом Шлионским, и думал: как изумился и обрадовался бы Пушкин, если бы ему сказали, что его стихи будут звучать в Вифлееме..."

2

На последней странице перевода "Евгения Онегина", вышедшего в свет в 1961 году, мелким шрифтом набрано: "Издание пятое, исправленное. Книгоиздательство "Сифриат ха-поалим".

В последние годы "Евгений Онегин" в переводе Шлионского дважды издавался массовым тиражом: в Пушкинском однотомнике (1966 г.) и в десяти томнике избранных произведений А. Шлионского (1971 г.).

Последние издания снабжены ценными примечаниями, позволяющими лучше понять дух пушкинской эпохи. Ни одно непонятное слово, имя, название, выражение переводчик не оставил без объяснения. Посвящение Пушкина ("Не мысля гордый свет забавить") дает повод переводчику сказать несколько слов о со-

* Симона Маркиша — А. Б.

временнике и друге поэта — П.Плетневе; эпиграф к первой главе — о князе Вяземском и даже привести его стихотворение "Первый снег". Из примечаний ко второй строфе читатель узнает, кто такие "друзья Людмилы и Руслана", о каких "берегах Невы" идет речь и почему автору "Евгения Онегина" оказался "вреден север". Если пушкинское примечание к этим словам, по вполне понятным причинам, предельно лаконично: "Писано в Бессарабии", — то примечание переводчика раскрывает прозрачный пушкинский намек и сообщает читателю весьма существенные обстоятельства из жизни поэта, заставившие его променять "север" на "юг". И всюду, где только можно, даны даты рождения и смерти писателей и общественных деятелей, написания и публикации тех или иных произведений и пр.

Интересны и чисто лингвистические примечания переводчика. Вот, например, в V строфе первой главы мы читаем: "Онегин был, по мнению многих... ученый малый, но педант". В примечаниях разъяснено, что в 20-е годы прошлого века слово "педант", помимо общеизвестного значения, имело и другой смысл: "бунтовщик", "чудак", "непокорный", "упрямец, пренебрегающий мнением света". В данном контексте Пушкин имел в виду именно это, тогда как в других местах романа — "в своей одежде был педант" (1, XXV), "в дуэлях классик и педант" (6, XXVI), "без вечных истин, без педантства" (8, XXIII) — слово "педант" употреблено в общепринятом значении.

Когда А.Шлионский готовил к печати свой пушкинский однотомник (1966 г.), автору этих строк пришлось, по просьбе поэта, неоднократно посещать Пушкинский Дом (Институт русской литературы) в Ленинграде и беседовать с виднейшими пушкинистами, чтобы прояснить скрытый смысл некоторых пушкинских строк и его намеков — то, о чем нельзя прочесть ни в одной книге. И эти данные были использованы им в примечаниях к "Скупому рыцарю", "Моцарту и Сальери" и к другим переведенным на иврит произведениям Пушкина.

Когда познакомишься с переводческой деятельностью А.Шлионского, трудно поверить, что это оказалось под силу одному человеку. Кроме уже названных переводов – "Ревизор" и "Женитьба" Гоголя, "Доходное место" и "Лес" А.Островского, все пьесы А.Чехова, "Власть тьмы" Л.Толстого, "На дне", "Городок Окуров", "Рассказ о безответной любви", "Страсти-мордасти" Горького, "Двенадцать" и "Скифы" А.Блока, стихи Андрея Белого, Валерия Брюсова, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Владимира Соловьева, Федора Сологуба. Из Пушкина им, кроме "Евгения Онегина", переведены "Борис Годунов", "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы", "Русалка", "Каменный гость" и "Скупой рыцарь". Из произведений советской литературы: "Цемент" Gladкова, "Ташкент – город хлебный" А.Неверова, "Дни и ночи" и лирические стихи К.Симонова, "Педагогическая поэма" А.Макаренко, "Непокоренные" Б.Горбатова, романы М.Шолохова, книги М.Пришвина, И.Бабеля, В.Гроссмана, В.Пановой, Т.Семушкина, В.Бианки, "Пулковский меридиан" и "Почти три года" В.Инбер, "Роман без вранья" Анатолия Мариенгофа, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака...

Картина будет неполной, если мы не упомянем превосходных переводов с других языков: "Короля Лира" и "Гамлета" Шекспира, "Тилия Уленшпигеля" Де Костера, "Кола Брюньона" Ромена Роллана, стихов Л.Арагона, Э.Верхарна, П.Элюара, У.Уитмена, И.Бехера, Б.Брехта и многих других.

3

Еще в середине прошлого века появились очень хорошие для своего времени переводы Шекспира на иврит, сделанные Ицхаком-Эдуардом Залкинсоном. Попытки переводить Шекспира делались и в дальнейшем и делаются по сей день. Но только переводы Шлионского, по единодушному признанию критики,

по-настоящему открыли израильтянам величайшего драматурга.

А. Шлионский перевел сцены из "Короля Лира" для театра "Охель" ("Шатер") (1949 г.) и всю пьесу полностью для национального театра "Габима" (1955 г.). В 1946 году он завершил перевод "Гамлета". При работе над Шекспиром перед поэтом встали проблемы исключительной сложности. "Как органически соединить огромные противоположности, из которых состоят его произведения? — спрашивает Шлионский. — Как найти языковой рецепт, передающий высокую духовность и патетику Шекспира? Как сохранить просторечие и народность в сочетании с возвышенностью? Как совместить сочную жизненность, рвущую все преграды, с кристальной ясностью и сдержанностью?"

Не слишком часто Шлионский-переводчик раскрывает секреты своего мастерства. обстоятельный рассказ о принципах, которыми он руководствовался, работая над Шекспиром, — приятное исключение, и мы воспроизводим его в сокращенном виде.

"Бесспорно, в наши дни язык Шекспира непонятен широкой английской публике. О Шекспире существует огромная литература, подобная Талмуду по количеству комментариев, толкований, словопрений и разногласий. Все это толкает переводчиков на ошибочный путь — они пытаются передать Шекспира так, чтобы и на языке перевода он оставался малопонятным. Но дело в том, что его "непонятность" отнюдь не составляет его сущности (хотя есть и такие поэты!). То, что он непонятен, — результат действия времени, ведь прошло 350 лет с тех пор, как Шекспир создавал свои произведения. За эти годы английский язык изменился до неузнаваемости. Но "вечный Шекспир" в своей основе вполне доходчив и даже народен. Это народность высшего порядка, кульминация которой — в простоте... Когда я перевожу Шекспира, я стараюсь преодолеть поэтическую дистанцию между Шекспиром и его читателем, а не физическую дистанцию между эпохой

Шекспира и нашей эпохой. Нельзя становиться рабом формального времени — это непростительный грех для художника. Это все равно, что изобразить сегодня Суламифь "Песни песней" дряхлой и уродливой старухой — ведь ей сейчас 3600 лет от роду!.. Но разве это допустимо? Художник, изображающий сегодня Суламифь, должен видеть девичий стан, "подобный финиковой пальме", "саронскую лилию", вечную женственность, над которой не властно время.

Чтобы переводить Шекспира, поэт должен приготовить для себя такой "химический рецепт" языка, который увековечил бы то, что время бессильно изменить... Следует ли переводить Шекспира сегодня языком древним, архаичным?.. Ни в коем случае! Шекспир по самой своей сути, по своему отношению к эпохе никогда не был "устаревшим". Только время обволокло его язык покровом древности. Тогда, быть может, его следует переводить языком современным? Упаси Господи! Это приведет к перемене ментальности: ведь мы, "модернисты", утратили ощущение пафоса. Желаящий передать шекспировский пафос, возвышенный и народный одновременно, сочный, созидательный пафос Ренессанса, тот пафос, который в свое время был не словесной красотой, а выражал душевную приподнятость человека, выходящего из тьмы средневековья и открывающего новую эру, желающий передать такой пафос не сможет воспользоваться рецептами современного модернистского языка... Но велика и опасность стилизаций, приспособленчества..., когда стилизация становится суррогатом стиля. Наши предки писали о еще более древних временах своим собственным стилем (Мидраш, Аггада*). Художники эпохи Ренессанса изображали Иисуса и библейских героев как современ-

* Мидраш — толкование, изучение. Здесь — нравоучительные иносказательные сочинения, возникшие незадолго до завершения Талмуда. Аггада — легенда, сказание, сказка. Здесь — богатая фольклорная литература раннего средневековья.

ников, не приспособиваясь к эпохе, когда действовали эти персонажи.

Шекспир, сочиняя своего Лира (период Первого Храма! эпоха идолопоклонников!), отнюдь не стремился стилизовать пьесу под старину, под эпоху язычества. Он писал в стиле своего времени, который был стилем возвышенной патетики. Поэтому тот, кто переводит Шекспира, не должен стилизовать его, приравливаясь ко времени действия пьесы, — ни в коем случае. Возникает вопрос — не следует ли стилизовать перевод с учетом эпохи автора, времени, когда жил Шекспир? Отвечаю: я против такой стилизации. Всякая стилизация по самой своей сути явление антишекспировское. Самому Шекспиру были неведомы пряности и специи стилизации. Его пафос не в том, чтобы подчеркнуть дистанцию между собой и героями, а в том, чтобы выразить себя и свое поколение.

В иврите есть отличные элементы для передачи старой классики: целые пласты из Библии, из средневековой поэзии и т. д. Присмотритесь хотя бы к Ибн-Саруку с его "Монологом"* . Какое удивительное сочетание патетики с бытовой авторской интонацией! И разве так уж велико расстояние во времени между ним и Шекспиром? С другой стороны, разве так уж значительна стилистическая разница между ним и современным поэтическим ивритом, который хочет все же сохранить дистанцию и специфические приметы Шекспира?

Могут сказать: следует исходить из того, как писал бы Шекспир, если бы творил в то время на иврите. В самой постановке вопроса есть намек на ответ: а почему бы не исходить из того, как писал бы Шекспир в наше время, если бы творил на иврите? Ведь нет никакой

* Менахем Ибн-Сарук (X век) — известный еврейский грамматик и лингвист, живший в Испании. "Монолог" — его письмо выдающемуся ученому, врачу, общественному деятелю и меценату Хисдаю Ибн-Шапруту, покровителю поэтов и ученых. В этом письме Ибн-Сарук жалуется на притеснения властей и допущенные по отношению к нему несправедливости.

возможности реально представить себе, как бы писал Шекспир в то время, и нет никакой возможности поэту, живущему в наше время, воспроизвести его стиль, не превратившись в стилизатора, в подражателя, работа которого — притворство... Шекспир взял язык, который был близок душе народной, с его шероховатостью, грубостью, вульгаризмами, даже с ругательствами и непристойностями, и облагородил его своим поэтическим темпераментом, своим энтузиазмом, своей мелодией. Составляя для себя языковой рецепт, он, подобно алхимику, превратил простой металл народной жизни в золото поэзии...”.

Шлионский, переводчик Шекспира, сумел сделать то же самое, живя в другую эпоху, в другой среде, в государстве с другой ментальностью, пользуясь языком, бесконечно далеким от английского языка Шекспира.

За перевод “Тилиа Уленшигеля” А.Шлионский вторично удостоился премии имени Черниховского (первый раз он ее получил за перевод “Евгения Онегина”). Известный поэт Яков Фихман, в прошлом один из ярых противников Шлионского, отметил, что этот перевод “не только высокохудожественное произведение; он вскрыл новые, богатейшие возможности иврита”. Выдающийся литературный критик Барух Курцвайль в своем обстоятельном разборе этого перевода пишет:

”Мне кажется, что Шлионский создал новый синтез всех возможностей, которые созрели в иврите, начиная от библейской эпохи и до наших дней. Будто дивный волшебник пригласил нас на генеральную репетицию и демонстрирует чудесные звукосочетания и обороты речи, которые раздавались на иврите в самые значительные и плодотворные часы нашей истории. Есть ли такие родники, из которых Шлионский не черпал?.. Самое удивительное, что языковые основы и источники далеких друг от друга эпох органически сплетаются между собой, образуя гармоничное единство. Эта ткань так хороша, так прекрасна, что остается лишь пора-

жаться возможностям нашего языка, которые обнаружил этот чародей-переводчик”.

Выбор этого труднейшего для перевода произведения не случаен. Шлионский признается: “Будучи поэтом угнетенного, обделенного жизнью народа, я стремился перевести книгу, которая внушала бы веру в то, что на свете существуют справедливые, веселые люди с хорошим аппетитом. Сейчас работаю над переводом “Кола Брюньона” — это книга в том же роде, некое сочетание “Дон Кихота” и Рабле”.

Перевод “Кола Брюньона” поставил перед Шлионским немало новых трудных задач. В творчестве Ромэна Роллана эта книга стоит особняком, да и в мировой литературе не так уж много ей подобных. Написанный цветистой, подчас ритмической прозой, иногда даже рифмованной, этот роман изобилует архаизмами, поговорками, пословицами, звучными ассонансами. Переводчика подстерегает опасность обеднить это произведение, лишив его своеобразного аромата и удивительной музыкальности. Этого не случилось с переводом А.Шлионского: читая его, нельзя отделаться от иллюзии, будто книга и в оригинале написана на иврите!

И здесь, как в других своих переводах, Шлионский стремился приспособить элементы еврейской национальной формы для передачи крылатых слов оригинала. На первый взгляд это может вызвать удивление — что общего между библейскими ассоциациями или поэтическими строками еврейских молитв и бытовым укладом французской деревни XVI века? Вероятно, в руках менее талантливого переводчика такие попытки были бы заранее обречены на неудачу, и читатель бы только недоумевал, натываясь на чуждые интонации и разноголосицу стиля. Но Шлионский — маг и волшебник иврита — умеет, как никто другой, соблюдать пропорции. Он мастерски превращает прямой смысл ивритских выражений в прозрачные намеки и при этом так хитро подмигивает читателю, что между ними сразу устанавливается полное взаимопонимание, и оба они

озорничают и наслаждаются очередной языковой шалостью... Вот несколько примеров.

В одном месте говорится о тугодумах, до которых с большим трудом доходят шутки. Пока они "переваривают" их и начинают смеяться, проходит много времени. В оригинале в дословном переводе сказано: "Они начинают понимать в Рождество то, что им сказали в День всех святых". Но много ли говорят еврейскому читателю христианские праздники? И с полным основанием А.Шлионский переводит эту фразу так: "То, что им сказали в Рош-хашана, они уясняют в Шмини-ацерет"*.

Оправдана ли такая "евреизация" фразы? Читатель с хорошим вкусом и чувством юмора ответит положительно и при этом усмехнется, чего и добивался переводчик, верный духу оригинала.

Казалось, читатель мог бы удивиться, встретив в "Кола Брюньоне" изречение известного талмудиста рабби Нахума, по прозвищу *Иш гам зо***. Шлионский вкладывает в уста главного героя такую сентенцию:

— И он *иш гам зо*, и я *иш гам зо*. Он — *гам зо ле раа* ("и это к худшему"), а я — *гам зо ле това* ("и это к лучшему").

На иврите это звучит предельно естественно, подчеркивая диаметрально противоположность двух характеров; не менее убедительно, чем во французском оригинале, который толкует о двух лекарях — искусном и неудачнике. Поэтому читатель не удивляется, а смакует эти фразы.

С большим мастерством трансформирует Шлионский французские поговорки, изречения, афоризмы.

* *Рош-хашана* — еврейский новый год, *Шмини-ацерет* — последний день праздника Кущей.

** Благочестивый рабби Нахум, родом из иудейского городка Гимзо, имел обыкновение произносить, что бы с ним ни случилось, одну и ту же фразу — "*гам зо ле това*" ("и это к лучшему"). Отсюда его прозвище *Иш гам зо* (Человек "и это...").

Вот несколько образцов.

Широко бытующая фраза "Беда многих — половина утешения" превращается в "глупость многих — половина утешения". Исходя из той же формулы, он сконструировал и другое ироническое замечание: "Терзания многих — половина удовольствия", и это органично вписывается в контекст. Поговорку из очень популярного в народе талмудического трактата "Поучения отцов", гласящую "не гляди на кувшин, а на то, что в нем", Шлионский трансформирует в "не гляди на судебные решения, а на то дело, что у тебя"...

Взяв за основу известное выражение из Экклесиаста "Где много мудрости, много огорчений, а добавляя знание — увеличиваешь скорбь" (1:18), Шлионский сконструировал такое шутовское выражение: "Где много дураков, много смеха, а добавляя смех — добавляешь знание". В контексте оно как нельзя более уместно.

В 49 Псалме дважды говорится о человеке, который "подобен скотине", а в Талмуде есть изречение "Почва земли одна и та же", смысл которого в том, что во всех местах обычаи в общем схожи. Перефразируя оба эти выражения и соединив их, Шлионский изрекает: "Во всех местах люди подобны скоту, а почва для скотины одна и та же повсюду".

В "Притчах Соломона" читаем: "Где нет Откровения, необуздан народ..." (29:18). У Шлионского: "Где нет господина — необуздан слуга". Известная еврейская поговорка гласит: "Нищий подобен мертвецу". Шлионский переинтерпретирует ее: "Нищий подобен несмысленному".

В заключение — еще несколько французских изречений из этого романа, зазвучавших у Шлионского так, будто они исконно еврейские:

"Пьющий вино беседует с Богом с глазу на глаз".

"Ну и овцы! Втроем они растерзают волка".

"Когда живот пуст — душа полна стремлений, когда живот полон — душа утомлена".

"Беда прибывает в экипаже, а удаляется пешком".

”Вопреки врачам, будем жить до дня смерти”.

”Кожа ближе к плоти, чем рубашка”.

Заметим еще, что в ивритском переводе большинство их дано в рифмованной форме и все они так искусно инкрустированы в языковую ткань, что их невозможно изъять из контекста.

Специального рассмотрения заслуживают переводы четырехтомного ”Тихого Дона” и двухтомной ”Поднятой целины” М.Шолохова. За перевод этих книг А.Шлионский, по собственному признанию, взялся лишь потому, что он... ”невероятно трудный... граничащий с созданием целого мира из ничего” (из письма А.Шлионского автору статьи от 1 декабря 1965 года). Этот перевод дал поэту редкую возможность обогатить иврит перлами образной казацкой речи, показав читателю своеобразие жизни, быта и психологии донских казаков. И вот произошло чудо — ”казаки заговорили на иврите, но, мне кажется, они сохранили свою казацкую сущность” (там же).

В процессе работы из сокровищницы языка были извлечены и возвращены к жизни десятки и сотни слов, выражений и терминов, которые хранились в старых, полузабытых книгах. ”Я мобилизовал, — пишет Шлионский, — глубинные залежи иврита многих поколений, но главная трудность состояла в том, чтобы сплавить весь обильный материал, извлеченный из разных источников, в одно органическое целое”*. И это ему вполне удалось. Иные слова и термины ”воскресли” в своем старом значении, другие же были переосмыслены; иногда, изменив синтаксическую связь между словами или заменив одно лишь слово в выражении (а подчас — одну лишь букву!), Шлионский добивался поразительного эффекта.

Когда в синагогах по субботам или в праздник за вершают чтение одной из книг Библии, все встают и громко восклицают: ”Хазак, хазак венитхазак!” Это

* А.Шлионский, ”Письма евреям Советского Союза” (на иврите).

можно перевести так: "Крепись, крепись, и мы будем сильны!" Шлионский в этой формуле изменил лишь одну букву — и смысл фразы кардинально изменился. Он пишет: "Хазак, казак, венитказак!" — и получилось: "Крепись, казак, и постараемся быть казаками!"

Так, используя бытующие в народе выражения, уходящие своими корнями в Библию (Вторая книга Самуила 10:12), переводчик ничуть не сфальшивил, не придал героям казацкого эпоса ничего специфически еврейского, а лишь приблизил их к своим читателям.

Выпустив в 1963 году первый сборник рассказов Исаака Бабеля, Шлионский до самой смерти продолжал работать над вторым томом. По поручению поэта его друзья в Советском Союзе перерыли множество старых газетных и журнальных подшивок, выискивая неизвестные рассказы, очерки, репортажи, выступления Бабеля, а также материалы о нем. Испытывая особую душевную склонность к этому выдающемуся писателю, безвременно погибшему в советских застенках, Шлионский считал его писателем е в р е й с к и м, в силу жизненных обстоятельств писавшим по-русски. Он утверждал, что Бабель мыслил, видел и чувствовал по-еврейски, и наш долг вернуть его в лоно родной ивритской литературы. Сделанные Шлионским переводы Бабеля настолько насыщены "одесскими" метафорами, образами, интонациями, что оценить их по достоинству может лишь хорошо подготовленный, эрудированный читатель.

Удивительное языковое богатство Авраама Шлионского в иных случаях мстит за себя, ограничивая число его читателей, особенно в наше время, когда в израильской литературе наметилась явная тенденция к упрощенчеству. Тот, у кого хватит терпения разобраться в его метафорах, неологизмах, словосочетаниях, всегда смелых и неожиданных, будет вознагражден сторицей — он обогатит свой язык и приобщится к большим духовным ценностям.

А. Белов

עיריית חיפה
מזרחת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
יובל החדשטין - ספריה
.....

457

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

(заказывать по прилагаемому купону)

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ

40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зэев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНый АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. ИСХОДНАЯ ТОЧКА. Антология
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. Моше Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО
МОРЯ
74. Моше Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Феликс Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Фаина Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ

לכבוד
הנהלת "ספריית-עליה",
ת.ד. 21650,
תל-אביב.

ט.ל. 219271

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 90 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 720 изр. лир.

Прошу выслать мне 12 из опубликованных книг
.....

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 720 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг
.....

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 360 изр. лир

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись: